

*Артемий Леонтьев*

## Москва, Адонай!

*Роман*

### *Пролог*

Ли́ка подняла взгляд и посмотрела, как через полиэтилен, в запотевшее от пара зеркало на свое уставшее матовое лицо, на глубокую морщину между бровей и провалившиеся от бессонной ночи глаза. Руки поддерживали восьмимесячного ребенка, ощущали горячую воду, как бы растекались в ней, сливались с голым телом малыша. Всмотриваясь в свои черты, которые уходили все дальше за влажную дымку зеркала, ставшего наконец совершенно непроницаемым и глухим, она думала об Арсени́и, о чужом счастье, о брошенных ей крошках с чужого стола. Мальчик дернулся с резким всплеском, задрал ноги и чуть завалился в воду. Ли́ка положила руку на головку ребенка и вдавила ее глубже: смотрела на свою расплывающуюся, колеблемую водяной рябью кисть, на взбухшие от горячей воды пальцы на ножках малютки и отчетливо понимала, что делает, — это был не бессознательный порыв, не ошибка — просто она сделала движение, просто в одно из мгновений ей не захотелось запрещать себе делать его. Податливая головка мальчика ушла под воду, он замахал руками и начал дергать ножками, пуская из глубины круглые упругие пузыри — такие пугающие, сначала бурлящие, а затем быстро поредевшие. Маленькое тельце замерло. Дрожание трепетной воды, подсвеченной электрической лампой, белесые блики изрезали голубоватой сеткой белую кожу малыша и ее худые, какие-то костяные руки. Ярослав не всплывал, неподвижно лежал на гладком дне. Желтый резиновый утенок покачивался на поверхности, выпучив черно-белые глаза с выражением удивления и безмолвного укора, которые, наверное, придумала сама Ли́ка, остановившись взглядом на яркой игрушке и навязав ей эту роль своим воспаленным воображением настолько достоверно, что ощутила вспышку вины перед этим утенком.

---

*Артемий Леонтьев* родился в 1991 году. Вырос в военном городке на окраине Екатеринбурга. Окончил Уральский федеральный университет, Институт военно-технического образования и безопасности, Литературный институт. Работал грузчиком, проводником пассажирского вагона, барменом, официантом, менеджером телефонных продаж, фотографом, заместителем директора и директором в ресторанной и гостиничной сферах. Живет в Москве, преподает русский язык и литературу. Многократный участник Форумов молодых писателей «Липки». Последние четыре года работал над диалогией «Рай и Ад», первая книга которой — «Варшава, Элохим!» — вышла в издательстве «Рипол классик» (2019).

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Журнальный вариант.

Вынула руки из воды, посмотрела на разбухшие в горячей воде подушечки пальцев, потом опустила взгляд на неподвижное тельце с тянущимися вверх русыми волосиками, похожими на колеблющиеся в течении реки водоросли, и завизжала. Схватила за голову и повалилась на влажный плиточный пол, прижалась к его прохладе щекой, вдавила колени в живот...

Через час связала два шелковых пояса от китайских халатов и повесилась на вставленном в дверной проем турнике, на котором Арсений занимался по утрам в те дни, когда они еще жили вместе.

Арсений Орловский пристегнул ремень, откинул голову на спинку кресла и уже минут через пять после взлетного толчка аппетитно засопел — глубоким и сытым сном здорового человека с хорошими нервами. Переполненная впечатлениями, счастливая Лиля порядком заскучала, она ерзала во время всего полета и пыталась даже обидеться на мужа за его безоблачно-равнодушный сон, но хорошее настроение было слишком сильным для этого. Самолет «Петропавловск-Камчатский — Москва» начал посадку во Внуково, она подула мужу в ноздри, чтобы разбудить. Орловский поморщился и с трудом разлепил один сонный глаз, а Лиля захохотала на весь салон:

— Ты бы видел свою физиономию, Арс, как косолапый мишка из берлоги... Хмурый невыспавшийся глазик, — Лиля впала в игривость и начала сюсюкать, надула губы и ущипнула мужа за небритую щеку. — Сонный мишка.

Он потер глаза, ласково отмахнулся и зевнул:

— Подлетаем уже?

Лиля кивнула, сжала пальцы мужа и положила голову ему на плечо.

— Благодарю тебя за чудесный отпуск, толстяк. Лю-лю тебя. Блю-блю...

Орловский улыбнулся и теснее прижал к себе жену. Сразу после аплодисментов приземлившихся пассажиров Лиля включила мобильник и набрала подругу.

*Аппарат вызываемого абонента выключен или находится...*

Второй раз набрала Лику в автобусе, пока ехали к зданию аэропорта, а в третий — когда ждали багаж.

*Аппарат вызываемого абонента выключен или находится...*

Лиля недовольно скривила губы и убрала телефон в карман.

— В жопе он находится! — буркнула, ни к кому конкретно не обращаясь, затем перевела взгляд на мужа. — Лику не отвечает... Знает же, что сегодня прилетаем.

Арсений оторвал чемодан от ленты багажной карусели.

— Не переживай, вкусная... просто аккумулятор сел, она не заметила. Это в ее стиле... Скоро дома будем. Сейчас только заедем за Яриком, и уже часа через полтора... будем дома... слушай, — резко остановился и вопросительно посмотрел на жену, — мать-перемать... а ты, случаем, не оставила кроссовки мои в номере? Я их на сушилку поставил. Вот жуть, точно же забыл.

— Да взяла, успокойся, они в рюкзаке у тебя в самом низу...

Орловский выдохнул и удовлетворенно кивнул.

Вышли из терминала, увязались за первым попавшимся таксистом. Утренняя прохлада, свежий ветер, растрепавший Лилины волосы — она придерживала их рукой, как кота на плече. В салоне машины Арсений зажал свою ладонь между ее горячими коленками. Молча смотрели в окно — пристально и с немым вопросом в глазах: бессознательно пытались понять, не предал ли их город, не слишком ли изменился за время их отсутствия? Флиртующее подмигивание оранжевых светофоров, пыльные листья. Лилу укачало, она задремала. Арсений смотрел на лицо жены, прислушиваясь к себе: никогда и ни с кем, ни с одной женщиной ему не было настолько хорошо и спокойно. Минут через десять Лиля резко открыла глаза, так, как если бы за ней кто-

то резко погнался, громко окрикнув. Набрала номер подруги. По встревоженному лицу жены Арсений понял: Лика по-прежнему недоступна.

Машина въехала во двор, остановилась у подъезда с обклеенной рекламами дверью. Орловский расплатился с таксистом и выставил чемоданы. Домофон ответил нудными гудками. Лиля взволнованно перебирала пальцы.

— Да не переживай ты, просто разминувшись... где-нибудь в дороге сейчас, может, просто опоздала в аэропорт и теперь тащится назад, а с телефоном, да мало ли какая фигня может...

Ключей от квартиры Лики у них не было, пришлось ждать, когда железную дверь откроет кто-то из соседей — из подъезда выбежала юркая пятиклашка с синими резинками на косичках и разноцветным мячиком подмышкой. Арсений придержал дверь, взял чемоданы, а потом поднялся на лифте к знакомому глазку и золотистой ручке. Нажал кнопку звонка — ответа не последовало. Взбешенная Лиля начала долбить кулаком. Дернула ручку, дверь поддалась и отворилась. Супруги переглянулись, вошли в прихожую.

Голос Арсения наполнил звенящую от тишины квартиру:

— Лика, это мы...

Резкий, тяжелый запах. Почувствовав смрад, Лиля схватила мужа за руку:

— Что за вонь? — прикрыла нос ладонью.

Орловский понял причину запаха сразу, шагая по коридору, он только выжидал, когда увидит подтверждение своей догадке. Жене он солгал, чтобы успокоить хотя бы на несколько минут:

— У нее просто кошка старая сдохла...

Лиля поверила, хотя отлично знала, что у подруги из-за аллергии никогда не было домашних животных — она уцепилась за эту хлипкую ложь, чтобы спрятаться от ужасного предчувствия. В длинном коридоре разбросанные на полу игрушки — лезут под ноги, бренчат. Сам того не замечая, Орловский нарочно наступал на них, чтобы пластмассовый грохот разгонял пугающую тишину. Пока замешкавшаяся Лиля стояла в прихожей, Арсений уже прошел до конца коридора и остановился... Первая мысль — увести жену из квартиры, чтобы она не увидела висевшее справа, вытянувшееся, как змея, тело Лики. На закрытых веках и перехваченной поясом шее багровели пучки лопнувших капилляров, из-под глянцевого халата выглядывали оголенный живот с большими трупными пятнами и обвислая, посиневшая грудь. Ноги касались линолеума, они разъехались в стороны, разбухнув от фиолетово-черных отеков; пояс халата вытянулся, и Лика стояла на заломанных ступнях. Привязанная к турнику, она немного наклонилась вперед, от чего становилось еще страшнее. Казалось, сейчас Лика откроет глаза, сдернет петлю и захохочет так, как умела при жизни, — с простодушным, почти подростковым куражом. Увидев ее тело, Арсений уже не сомневался: Ярослав тоже мертв, но поверить в это вот так вот сразу было слишком тяжело.

Он резко повернулся. Лиля шла к нему по коридору и внимательно, с испугом смотрела в глаза, то ли интуитивно предчувствуя катастрофу, то ли прочитав все по лицу Арсения. Орловский кинулся навстречу, обнял за плечи и повел жену обратно. Она впилась в его руку, как хищная птица, расцарапала кожу до крови:

— Что такое?! Что там?! Куда меня тащишь?!

— Тише, тише, хорошая, под-дем на кухню...

Лилю лицо побагровело, она заорала на всю квартиру:

— Ф-ф-фустии! Ф-ф-фустии мня! Я хочу своими глазами его... Убери от мня свои...

Арсений сдавил тонкие кисти. Лиля вскрикнула и чуть обмякла. Он вытолкнул ее на кухню.

— Сядь, успокойся. Там Лика, тебе незачем на нее смотреть! Она повесилась.

«...лась, лась, повеси-лась ...» — стрельнуло в голове.

Лилины ноги подкосились — она упала. Арсений встал на колено рядом, шептал, поглаживая ее волосы:

— Тише, маленькая, успокойся.

— Что-с... что-с ...ком? Что с Яриком? — задыхаясь.

— Я его не видел, возьми себя в руки. Он может быть у мамы...

В первую секунду Лиля поверила, но потом опомнилась и со всей силой хлестнула мужа по щеке:

— Не ври!!! Они еще не вернулись! Что с Яриком, я тебя спрашиваю, тварь?!

Лицо Арсения придвинулось совсем близко:

— Если ты обещаешь, что успокоишься и подождешь здесь, я пойду и посмотрю...

Перепуганные, дикие глаза Лили уставились на мужа:

— Я спокойна! Спокойна, пусти!

— Жди здесь или...

Ударила кулаком в грудь:

— Да иди же, мать твою! Да быстрее же, урод!!!

Арсений быстрыми шагами рванулся в коридор. Сначала заглянул в маленькую комнату, напротив которой висело тело Лики, — комната была пуста: разбросанная пижама, плюшевые зайцы, медведи и яркие обложки смеющихся книжек.

Вернулся в коридор, пересилил себя и прошел рядом с телом — запах высохшей мочи, кала и гниения. Прижался к стене, чтобы не дотрагиваться, боком прошел в комнату, которая находилась за спиной мертвой Лики: здесь тоже пусто — ковер, аккуратно заправленный диван, компьютерный стол из светлого ДСП.

Взгляд коснулся круглой ручки двери в ванную; свет включен — этот желтушный свет, пробивающийся сквозь матовую полосу дверного стекла, стал моментальным ответом, крайней точкой отчаяния; Орловскому показалось странным, что он не вошел в ванную сразу, не шагнул навстречу этому страшному свету, ведь он заметил его с первых секунд, когда еще шел по коридору, наступая на пластмассовые игрушки. В голове промелькнуло: *свернул в комнаты, потому что слишком быстро понял этот свет в ванной* — понял гораздо быстрее, чем был готов понять и принять... Повернул ручку и распахнул: серые пятна на белом тельце; торчащая из-под воды голова с залысынами — часть волос выпала и плавала в ванной, а оставшиеся выглядывали на поверхность; сморщенная кожа ребенка местами отслоилась от рук и болталась в воде. Спертый, ужасающий трупный запах, похожий на кислый газ, был настолько сильным, что ударил в нос — голова закружилась, ноги обмякли.

Потрясенный Арсений сжал ладонями лицо, скатился по дверному косяку на пол. Не заметил, как подошла Лиля — увидел ее только после того, как она заглянула в ванную, после того, как уши распорол нутряной вопль. Схватила за голову и завизжала дерущим глотку криком, потом покачнулась и с грохотом повалилась на пол — ударила головой о плечо повесившейся подруги, тело которой встряхнулось и сделало поворот вокруг своей оси, а потом начало раскручиваться обратно.

Арсений подскочил, поднял Лилю на руки, отнес в гостиную и уложил на мягкий диван. Раскрыл окно нараспашку, принес графин с водой. Плеснул на лицо тонкой струей, растер воду по лбу. Достал из кармана телефон и вызвал скорую помощь и полицию. Лиля пришла в себя — ее вырвало. Лежала перед лужей блевотины, в которую свалились красивые пышные волосы. Сплевывала густую, тягучую слюну и скулила.

После похорон сидели с безжизненными лицами на скамье в парке. Отстраненными глазами смотрели перед собой — уставились на окружающий мир, как на окровавленную ладонь. Смех гуляющих вокруг казался противоестественным и странным. В головах гудела пугающая пустота. Надломленная фигура Лили бросала на землю зыбкую тень. Одна влюбленная парочка шла под руку — молодежь о чем-то

трепетно шепталась: мельком глянули на Орловских и торопливо отвели глаза, быстрыми шагами двинулись прочь, стыдясь собственного счастья и своей румяной, торжествующей молодости — подальше от бледных, скорбных фигур в черных одеждах.

Первая заговорила Лиля:

— Я не хочу жить... не хочу. Совсем. Для чего? Глупость... Даже смешно думать о будущем.

Арсений обнял жену, но она дернула плечом, сбросив его руку:

— Не трогай меня! Не надо меня утешать! Лучше не говори ничего!

Орловский поднял глаза к кронам деревьев — лохматые лиственницы шелестели над головой. Он перемолол свое горе — принял его, поэтому чувствовал в себе силы жить дальше, но боялся, что жена на это не способна.

— Я ничего и не собирался...

Лия попыталась понять, куда он смотрит. Не увидев ничего, что могло бы объяснить его пристальное внимание, презрительно пожала плечами и снова уткнулась взглядом в пыльную дорожку — себе под ноги.

На секунду она его возненавидела.

— Арс, я думаю, нам лучше разойтись...

Орловский поморщился:

— Замолчи... слышать этот бред даже не хочу... Со временем заведем еще одного.

Лия с ненавистью посмотрела на супруга:

— Это ты виноват! Ты предложил поехать на эту сраную Камчатку! — начала трясти его за воротник рубахи и вlepила несколько пощечин. — Ты мне противен!!! Слышишь?!

Арсений отмахивался, но смотрел на жену спокойно:

— Не сходи с ума, Лия... у тебя истерика. Не думаешь, что плетешь... Перестань.

Как ни трудно было, Арсений все-таки улыбнулся, глядя в ненавидящие глаза. Поймав улыбку, Лия вдруг как-то замерла, чуть вздрогнула, лицо разгладилось, и она заплакала — надломленно, сухим плачем без слез. Закрылась руками. Арсений снова обнял жену и привлек к себе. Лия подняла на мужа потерянный взгляд, взяла его руку и поцеловала волосатые пальцы.

— Прости меня... Ты прав, Арс, прав... — сжала его кисть. — Я так сильно... тебя...

Орловский прижал губы к закрытому, дрожащему веку. Прикрыл рукой глаза, шурясь от солнечного света.

## Действие первое

### *Явление I*

Михаил Дивиль ходил пешком даже зимой: жил в двадцати минутах от театра — во время этого вечернего маршрута, своего рода творческого моциона, режиссер привык подводить итоги дня, обдумывать детали постановки и разглаживать новые мысли-впечатления, расстилать их перед собой, как свежеотпечатанные листы.

Добираясь до своего двора, частенько задерживался перед сном в одном джазовом клубе: вид пустых комнат роскошно обставленной квартиры отравлял жизнь сильнее самых ледяных воспоминаний. От каждой детали стильного интерьера квартиры, от домашней обильности обстановки, подобранной еще вместе с бывшей женой, веяло каким-то помадным духом. Уже давно Михаилу казалось, что его квартира — не дом, а дорогой гостиничный номер, куда нельзя прийти, чтобы ежеминутно не чувствовать: вот-вот сейчас в дверь постучит вежливый метрдотель или официант; а стоит приблизиться к респектабельному подъезду на набережной, шаг-

нуть в чисто прибранное фойе с разноцветным глянцевым полом, и за пластиковой витриной будет сидеть не консержка Марья Эдуардовна, а молодой администратор с бейджем «ресепшен», который сначала внимательно присмотрится к Дивилю улыбочиво-прищуренным взглядом, бегло глянет на часы и, убедившись, что час вполне поздний, а постоялец вполне одинокий, предложит режиссеру девочку в номер.

Наверное поэтому перед сном Михаил всегда испытывал потребность немножечко «промочить горло» или «пропустить стаканчик», как говорят вежливые и скромно одетые господа с побагровевшими носами и жиденькими волосами (господа интеллигентных, но крайне малооплачиваемых профессий); люди решительные и резкие предпочитают «вмазать», «жахнуть» или «накатить», ценители спорта «принимают на грудь», а филологически подкованные оригиналы любят «остограммиться»; люди попроще «соображают на троих», банщики «поддают», несовершеннолетние «употребляют», рыбаки «дергают», гражданские и служивые «обмывают», депрессивные пессимисты «поминают», жизнерадостные музыканты «бацают» и «жарят»; люди приземленные «распивают», порывистым романтикам широких жестов и рухнувших упований больше нравится слово «насвинячиться», кощунники «причащаются», студенты «нажираются», «бухают» или «гудят», а конченым маргиналам ближе суицидальное «колдырнуть» или деликатно-робкое «раздавить бутылек». Что же касается Михаила, он называл свою вечернюю привычку «освежиться перед сном». Так уж повелось. Впрочем, иногда он заговаривался и вместо «освежиться» говорил «освеживаться» и минутами подозревал: эта оговорочка не случайна.

Только после нескольких стаканов Михаил поднимался на лифте, брнчал связкой ключей, открывал входную дверь, принимал душ и впрыгивал в кровать с закрытыми глазами, чтобы темные стены и тенистые углы комфортабельного жилища не успели навязать свою черноту — в детстве маленький Миша тоже прыгал в постель с разбегу, потому что боялся: вот-вот и из-под кровати его схватит чья-то рука, теперь взрослый Миша не боялся руки, он боялся собственной жизни (лежал в кровати, как в мешке, и моментально отключался, разве иногда, бывало, пару минут, прежде чем уснуть, ощущал лихое карусельное коловращение своего «танцующего» жилища; казалось тогда, что чья-то залихватская рука из детства так дотянулась, так хапнула за ногу и тащит-тащит теперь волоком, раскачивает, хочет вышвырнуть, как дохлую кошку за хвост, но даже в эти ночи Михаил едва успевал осознать себя и взвесить прожитое, оставленное, как законный мрак сменялся рассветной белизной, а глаза распаивались, и возникало ощущение, точно и не спал, настолько ничтожно малое расстояние разделяло пьяный и зажмуренный прыжок в постель и это тяжкое пробуждение с дерущим сушняком, настолько быстро наступало утро, почти как по щелчкам «вкл.» и «выкл.»).

Дивиль развелся с женой четыре года назад, дочка Полина жила с самовлюбленным актеришкой-проходимцем, который поначалу крайне страстно навязывался к режиссеру на короткую ногу, но почти сразу наткнулся на холодную непроницаемость, и теперь «артишок», как его не без удовольствия называл Дивиль, задрал подбородок и косил на режиссера воспаленным зрачком уязвленного самолюбия. Дочь не особенно жаловала Михаила как отца и человека — больше тянулась к матери — между Полиной и отцом не было вражды, не было и неприязни, минутами они даже могли вполне душевно и искренне беседовать, но подобные проблески сердечности являлись, скорее, случайно нашупанными в темноте контурами, чем тихим неугасимым горением нормальных родственных отношений.

В профессии тоже не особенно ладилось — вернее, формально-то все было идеально: определенная известность, несколько престижных премий и вполне приличный доход, но Дивиль слишком хорошо знал истинную цену всем этим публичным достижениям, которые у серьезных ценителей и самого Михаила не вызывали никаких

эмоций. Вторичность его творческих изысканий была очевидна для многих. Вот и работа над новой постановкой никак не шла. Месяц назад Михаил сел за пьесу — больше всего ему хотелось поставить на сцене собственную вещь — но работа над ней застопорилась почти сразу, так что этот текстовый файл в рабочей папке ноутбука сейчас только мозолил глаза и раздражал, вызывая ощущение драматургического бессилия. Дивиль не открывал этот файл уже неделю, потому что чувствовал — ему нечего сказать.

Михаил давно уже пытался понять, когда в нем пропало то чувство, что в молодости толкнуло к театральной режиссуре и драматургии, заполняло энергией до кончиков пальцев всякий раз, как он брался за новую идею. Но в беспорядочном и противоречивом прошлом все слишком слежалось, как-то наслоилось одно на другое, так что ничего нельзя было понять.

Михаил перебежал блестящую от света фар дорогу ленивой рысцой. Джазовый клуб находился в темном дворе, куда можно было войти только через неприметные ворота — режиссер уже давно стал здесь завсегдатаем, но каждый раз, как он проходил через эти крашенные ворота, его не покидала мысль, что ему приходится проникать в заведение через черный ход (в этом теплилось своеобразное очарование). Дивиль не был страстным поклонником ни Чарли Паркера, ни канонизированного африканской церковью в Сан-Франциско саксофониста Джона Колтрейна, ни музыки других легендарных джазистов — просто режиссеру нравился этот клуб, его атмосфера, интерьер и полное пренебрежение к рекламе.

Дивиль пересек двор. Перед входом в бар скамейки и стулья; несмотря на дождливую погоду некоторые гости сидели под открытым небом, кутались в плащи и пледы, оживленно болтали, звенели стаканами, курили. Татуировки на руках, шеях, крупные серьги, пирсинги, туннели. Дождевые капли лакировали лица и черные кожанки, превращали людей в блестящие восковые фигуры с бледными и желтыми лицами. Вход загородила стильная компания. Ребята передавали по кругу бутылку игристого вина: кольца на длинных пальцах постукивали о зеленое стекло. Молодежь лениво потеснилась. Михаил прошел сквозь клубы дыма от самокруток, сквозь запах молодости и духов, сквозь распушенные по ветру и прилипшие к губам волосы, сквозь смеющиеся взгляды, как сквозь солнечный, пронизанный пылью свет. Спустился по узкой лестнице, оказался внутри.

Сел за барную стойку, кивнул бармену — низкорослому африканцу Абику с матовыми губами и гуталиновой кожей. Дивиль настолько часто видел этого бармена — гораздо чаще дочери и бывшей жены — что временами казалось: Абик — по меньшей мере его единоутробный брат. Режиссер скользнул глазами по пестрым этикеткам блестящих бутылок и заказал порцию выдержанной текилы — апежо. Вздохнул жесткие волосы и погладил ладонью некрасиво оттопыренное ухо: в детстве Михаил очень комплексовал из-за своего изъяна — с самого рождения правое ухо сильно оттопыривалось и казалось больше левого; в школе, понятное дело, такое не прощалось, Миша долго терпел, пока в девятом классе не избил на перемене самого злого зубоскала, после чего одноклассники стали находить в оттопыренном ухе определенную брутальность и даже завидовали.

Дивиль в принципе любил драться, но в цивилизованном обществе большого города люди стараются пакостить друг другу исключительно законными способами, поэтому до драки дело доходило редко — обычно даже самые хамовитые смолкали, становились ниже под натиском острых глаз Михаила, если он начинал злиться, но невзирая на эту внутреннюю энергию, режиссер часто удивлялся тому, каким слабым и беспомощным иногда ощущал себя сам.

Вот и сейчас режиссер находился в этом странном состоянии парализованной мощи — он чувствовал в себе настоящий ураган, способный проламывать стены, но не понимал, зачем ему нужен этот дремлющий шквал уставшей энергии. В молодости

его внутреннее «Я» вело себя более сложно и неоднозначно — творческая нервность и эмоциональное сгущение стихийно вырывались на свободу — это специфическое «Я» нередко толкало Михаила на высказывания и поступки, противоречащие его принципам и убеждениям: в те годы в порыве какого-то экстравертного безрассудства он мог высмеять собственные святыни или обидеть дорогого ему человека, мог выставяться и бить себя в грудь, чтобы произвести впечатление и понравиться окружающим, притом что по природе своей был достаточно скромным человеком и до отвращения не переносил подобное в других. С возрастом Михаил пообтесался, стал более сдержанным, но по факту не изменился — просто научился тщательнее контролировать внутренние потоки, да и творческой нервности в нем больше не было — как-то опало все, обмякло, стало прозрачным и водянистым.

Взял стакан с текилой, повернулся к залу, пробежался глазами по столикам. Знакомых, к своему удовольствию, не увидел; сегодня было особенно тоскливо, и даже одна только мысль о дружелюбной болтовне казалась невыносимой. Здесь всегда собиралось много его друзей, действительно замечательных, интересных людей — каждый из них мог выслушать о наблевшем и искренне поддержать, мог развеселить, но режиссеру не хотелось делиться своей ношей, вываливать ее наружу — Михаил держал ее в себе, может быть бессознательно и интуитивно, подавлял в себе, как рвоту. Да и о чем, собственно, рассказывать друзьям? Дело вовсе не в разводе, не в сложных отношениях с дочерью и не в том, что он перестал гореть некогда любимой работой — творчеством — в нем просто что-то надломилось, во всем его отношении к жизни, а как это можно внятно объяснить даже самому близкому другу, если сам себя едва понимаешь? Дивиль наперед знал все, что ему могут посоветовать самые задушевные советчики, — тошнотворные избитости и банальщину.

Квадратные столики тесно сгрудились вдоль стенки, плотно облепленные подвыпившими гостями. Бордовые кирпичные стены грубой отделки — шершавые и рыхлые, приглушенный свет, хмельные лица, звон тонкого стекла — ломкая, надтреснутая перебранка стаканов и бокалов. На сцене играли музыканты.

Бармен достал соль и начал резать лайм. Режиссер выставил руку вперед и замотал головой:

— Абик, не нужно, томатный сок смешай просто с апельсиновым и добавь табаско. Я сегодня только выдержанную буду пить.

Михаил приложился к стакану, отхлебнул золотистой текилы, немного подержал на языке и неторопливо проглотил. Послевкусие голубой агавы приятно обожгло язык и растеклось по крови колючими каплями. Глядя на веселые компании у столиков, Дивиль еще больше затосковал.

Тут кто-то хлопнул его по плечу. Оглянулся. Наткнулся взглядом на лицо дочери:

— Полина, откуда?!

Девушка сняла черную приталенную куртку с серебристыми молниями и острыми плечами. Бросила ее на соседний барный стул. Положила бирюзовую сумочку из кожи питона на стойку и села рядом с отцом. Внимательно заглянула в глаза.

— Тебя не трудно найти, ты либо в театре, либо здесь. Вариантов немного, можно и не трезвонить, — чуть наклонилась к зеркалу барной витрины, потрепала пальцами свои коротко стриженные русые волосы, немного вздохнула. — Привет, Абик, будь добр, вина белого. Шардоне любое. Сухое со льдом.

Михаил смотрел на дочь в профиль. Со сдержанным умилением и теплом разглядывал аккуратный нос и ушную раковину, похожую на зародыш. В нежно-розовую мочку уха впиалась большая сережка — толстое золотое кольцо с японскими иероглифами.

— Дай отгадаю, ты за деньгами? — Дивиль залпом проглотил оставшуюся текилу и запил острой сангритой.



Дочь нахмурилась и осуждающе посмотрела на отца:

— Ну почему сразу за деньгами? Что я так просто не могу прийти пообщаться? Делашь из меня меркантиль какую-то... Прямо не дочь, а чудовище.

— Не собирай, я такого не говорил. Ну, так сколько нужно опять?

Полина раздражительно качнула головой:

— Да тысячу десять дай, а то на мели совсем, пока зп не начислили.

Дивиль залез в кошелек и достал пять тысяч:

— Возьми, больше нет, я тоже не резиновый. Остальное мать добьет... — раздраженно покосился на бирюзовую сумочку дочери, — в следующий раз будешь думать, прежде чем свои питоновые штуки покупать... страшно подумать, сколько эта дрянь стоит...

Дочь взяла деньги и убрала в сумку.

— Ой, пап, давай только не будем об этом...

— Скажи лучше, что с личной у тебя, Поля? Как там твой Бельмондо карманный? Здравствует артишонок?

Девушка скривила лицо и усмехнулась:

— Не спрашивай. Разбежались. Даже вспоминать не хочу, куда вообще смотрела?

Режиссер оскалился:

— В этот раз ты хотя бы полгода протянула... Рад, что ушла от этого клоуна. С трудом себя сдерживал, чтобы по роже ему не заехать, когда он начинал о чем-нибудь рассуждать... Мне кажется, он иногда членом трется о свое отражение в зеркале... Ты его не ловила за этим делом ни разу, пока жили вместе?

Девушка засмеялась и отпила из бокала:

— Нет, но вполне допускаю, что такая форма досуга для него возможна, — посмотрела на отца с теплой насмешливостью. — Просто, как дура на тело его повелась... Ну один раз прикольно, да, не спорю, но на один раз можно и мальчика по вызову снять — они еще четче... а жить с этим фитнес-манекеном... нет уж.

Отец нахмурился:

— Ты пробовала, что ли?

Полина вопросительно уставилась на отца, не поняв, о чем он спрашивает.

— Ну, мальчика по вызову снимала?

Полина засмеялась и отвела глаза в сторону Абики. Убедившись, что бармен ничего не услышал, снова повернулась к отцу:

— Я просто пример привела, нет, конечно, не снимала.

*Врет, по глазам вижу, пробовала. И взгляд отвела... Вчера еще манную кашу с розовых колготок оттирал, а теперь...*

— Я с Димой сейчас вообще встречаюсь.

Дивиль усмехнулся:

— Быстро ты... Так ты же не любишь его? Он давно к тебе клеился, помнится.

Полина поджала губы, постучала длинными ногтями по бокалу.

— Ну и что, он хороший все равно...

*Как же мы катастрофически глупы... живем всю жизнь понарошку, пичкаем себя всяким говном — потом, мол, наверстаем... типа бессмертные. «Хороший» — словечко-то какое дегенератское.*

Догадавшись о мыслях отца по хорошо знакомой морщине на лбу, Полина возмутилась:

— Ой, пап... Нашла бы настоящего, сразу бы родила ему...

Михаил сделал небольшой глоток:

— Мы находим в окружающих только самих себя. Если у тебя в отношениях все сплошь уроды, нужно хорошенько задуматься. Разберись уже в себе давай.

С раздражением покосилась на отца:

— А ты нашел, философ? Или только рассуждать под текилку умеешь?

Михаил повел голову в сторону и недовольно цыкнул:

— Ты права, действительно не нашел... Абик, повтори.

Снова повернул голову к дочери:

— Знаешь, Поль... В молодости я любил твою маму по-настоящему и не мог бы сказать тогда, когда был с ней, что она просто «хорошая» или «нормальная», потому что был без ума от нее... не мыслил никого на ее месте рядом с собой — то, что сейчас мы разошлись по углам, это уже другой момент — иная плоскость жизни, так скажем... и вообще это все детали. Важно другое: в прошлом я был со своим человеком, и мы наполняли друг друга... многое вместе преодолели. Главное только это. Тогда я действительно нашел родного человека, просто потом мы оба изменились.

Новый стакан стукнулся о лакированную стойку. Бармен налил еще пятьдесят.

— Как там у нее дела, кстати?

Дочь отпила из бокала:

— Да все так же. Ничо нового. Салон красоты этот ее да бытовуха... Нашла вроде бы какого-то олуха, но он вообще мертвый. Пару недель с ним повозилась, поручкались и разбежались. Только не кайфуй сильно, я же знаю, ты рад это слышать.

Михаил чуть склонил голову, как будто ему в лицо резко выплеснули стакан воды. Сжал зубы. Перемолол в себе резкий ответ, потому что не хотел конфликта.

— Привет передавай ей. Скажи, что через три месяца премьеры, если хочет, пусть даст знать, я билеты пришлю... Ты сама-то пойдешь?

— Не знаю, ближе к премьере видно будет...

— Давно хотел тебя спросить, почему ты не продолжила заниматься балетом? Ведь так любила эти занятия, мечтала балериной стать...

Полина задумалась. Долго смотрела в глаза отцу, как будто пытаюсь найти ответ там:

— Испугалась, наверное. Мягко говоря, это не самая практичная стезя в жизни.

Михаил захохотал так громко, что с соседних столиков оглянулись на него, несмотря на общую шумиху.

— Не смейся, с каких пор ты отличаешься практичностью?

Полина ядовито ухмыльнулась.

— Представь себе, в юности я была практичнее, чем сейчас...

— Не спрашивала себя, ради чего, собственно, живешь?

Девушка закинула голову назад и со скукой посмотрела в потолок.

— Пап, по-моему, кого-то развезло уже... Осталось только сказать: «Ты меня уважаешь?» и пригласить меня в рюмочную...

Раскрасневшееся лицо Михаила заблестело от пота. Ему было жарко.

— Я выпил две порции по пятьдесят, так что абсолютно трезвый. Не надо пугаться серьезных вопросов — это всеобщая дурацкая привычка, мы избегаем по-настоящему серьезных тем и постоянно говорим о пустяках даже с самыми близкими людьми... вот и жизнь через жопу получается, какая-то обходными путями, через помойку, заборы, с задранной за ухо пятой ногой.

Полина грустно улыбнулась.

— Я поняла, к чему ты клонишь, сразу, как о балете заикнулся... да, конечно, жалею, что бросила... дура была... И знаешь, в моей жизни сейчас реально нет ничего такого, ну типа до дрожи... я вроде в кайф живу, но зубы не ломит, сердце не екает, это да, — потерев пальцами воздух, как будто пыталась ощупать его, собрать в горсть. — Балую себя, как умею, оттягиваюсь временами, у меня клевые подруги, но того, о чем ты спросил, не, у меня нету...

*Клевые подруги? Видел, ага. Стая куриц: столкнуть ближнего, насрать на нижнего...*

— Сама как думаешь, чего тебе не хватает?

— Любви, конечно, только любви, — воодушевленным шепотом, немного

зажмурившись. — Просто хочу быть счастливой. Впрочем, как и все. Такая типичная девчачья мечта у меня... как у кролика про вечную морковку.

Михаил хрустнул пальцами:

— Не перестаю удивляться — все без исключения хотят любить, ну и просто быть счастливыми, как ты говоришь... и, что самое главное, все ведь умеют, по крайней мере, в детстве, но... — Он оперся на стойку, сгорбился и уставился на дочь в упор: — Ты вот много знаешь счастливых пар, семей, просто людей? Ну и любви настоящей, без натяга?

Полина сжала губы и тоже облокотилась на барную стойку. Повернулась к отцу ближе, доверительнее:

— Ну-у-у... Не-е. Почти никого. Среди подруг ни одной, кто бы жил с любимым человеком — прикинь?... и это самое удивительное, да. Сама в шоке. Постоянно об этом думаю. Не, много, конечно, таких, кто говорит о любви в своих отношениях, но по факту это либо фольга, либо самообман, а настоящего чувства, не, не встречала в браках... Первые любви — туда-сюда-кукарача, это мы все еще можем, амурсы курортные и прочие абрикосы на грядочках... а так, чтобы вместе по жизни шли во все двери... да и я не лучше, сам знаешь... Ни разу же не жила с любимым, хотя умею... или думаю, что умею, не знаю... Страсть была, симпатия, расчет, а так, чтобы... Слушай, пап, вот честно, я уже давно грешным делом подумываю: настоящая любовь — это для театра твоего, наверное, для кино и литературы — все — в реальной жизни мы довольствуемся мало-мальски яркими красками, чтобы хоть как-то разбавить контрацепцию серого... но не больше... фу, ты... — Полина засмеялась. — Концентрацию, я хотела сказать, оговорила.

Михаил кивал.

*Странная оговорочка... случаем, не забеременела? Как же она все-таки похожа на мать...*

— Знаешь, Полин, в семидесятые проводился любопытный эксперимент. Калифорнийские ученые вживляли электроды в гипоталамус крыс: когда электрическая цепь замыкалась, крысы испытывали половое и пищевое удовлетворение... Потом научились нажимать специальную педаль, самостоятельно вызывая этот же эффект, после чего начали игнорировать пищу и половых партнеров. Предпочитали педаль. Через некоторое время умирали от голода или выжигали себе мозги. До тысячи раз за час нажимали... Тысячу, понимаешь? Дятел — ребенок по сравнению с такой мастурбацией...

— К чему ты это все?

— Так ведь это на самом деле не про кошечек с собачками, не про крыс, а про нас все, — положил тяжелые пальцы на хрупкие руки дочери.

— А ты сам? Тоже ведь не похож на счастливого... Чем сейчас занимаешься вообще?

Режиссер повел головой в сторону.

— Я пьесу сейчас ставлю, свою собственную причем — мой первый опыт как драматурга... она обо мне самом, о том, что вокруг меня, о Москве... не знаю, что из всего этого получится — это очень большая вещь в шести действиях... До Стоппарда мне далеко с его «Берегами», конечно, но в целом тоже часов на семь-восемь выйдет сценического времени... Я сам ее режиссирую, репетиции уже недели две идут... А насчет счастья: «Ты взвешен и найден очень легким» — это про меня, наверное, — ткнул волосатым пальцем себе в грудь.

— В каком смысле взвешен? Это откуда? — дочь нахмурилась, она не любила, когда отец умничает.

— Да так, к слову пришлось...

Полина щелкнула пальцами, как бы что-то вспомнила, хотя по враз закрывшемуся лицу, по мимолетному отчуждению Дивиль понял: дочь отстранилась — она любила

легкость, а внутреннее состояние и рассуждения отца слишком давили на нее. Михаил знал это и всегда старался балансировать с Полиной во время их редких разговоров, каждым словом словно осторожно ступал по канату. Сейчас, судя по моментально сработавшей защите дочери, он сделал несколько неосторожных движений.

Полина торопливо посмотрела на часы:

— Ладно, пап, мне пора уже. Улетаю от тебя, меня подруга ждет...

Дивиль молча кивнул. Девушка допила вино, накинула куртку и хотела уже уйти, но понурый вид отца уколол, безмолвно упрекнул — она резко остановилась, подалась назад: подошла ближе, положила руку на плечо.

— Мы с тобой часто ругаемся, гадости разные друг другу говорим или просто можем месяц не видеться, но я хочу, чтобы ты знал, пап — ты очень хороший и...

*Ты любишь. Скажи уже... Последний раз в тринадцать лет слышал...*

Михаил выжидательно смотрел на дочь, но Полина больше ничего не сказала — только подмигнула и поцеловала в щеку. Режиссер улыбнулся одними глазами, прижал Полину к себе. Потом провел пальцем по ее родинке на шее — по самому центру, чуть ниже подбородка. Безукоризненно круглая, она была у нее с самого детства. Очень любил эту родинку. Полина взлохматила голову отцу и поцеловала в макушку.

— Пап, твои волосы пахнут дегтярным мылом... ужасающий запах, умоляю тебя, выброси эту коричневую гадость за двадцать пять рублей, — широко улыбнулась и похлопала Михаила по спине. — Спокойной ночи.

Дивиль сжал руку дочери и отпустил.

— Спокойной ночи, Кнопка.

Полина удивилась, услышав свое детское прозвище — отец не называл ее так уже много лет — засмеялась, стрельнула в отца пальцем, потом кивнула Абику и направилась к выходу. Режиссер поймал оценивающие взгляды двух мужчин за соседним столиком. Те следили за обтянутыми кожаными брюками ногами Полины, почувствовали на себе тяжелый взгляд Михаила и отвернулись.

Дивиль обернулся к сцене, где музыканты готовились к выступлению.

*Как представляю, что она постоянно кому-то отдается... Моя Кнопка? Турбазы все эти студенческие, задние сиденья машин, туалеты в ночных клубах, подъезды в юности... сейчас гостиницы, наверное... У нее всегда была обостренная сексуальность. Лет с четырех в себя карандаши засовывала. В попку тоже.*

Михаила передернуло.

Несмотря на то что он не курил уже лет одиннадцать, ему сейчас сильно захотелось вдохнуть в себя много дыма, почувствовать сизую горечь. Он попросил у бармена сигарету. Абик удивленно приподнял брови, улыбнулся белоснежными зубами, достал из кармана пачку и протянул постоянному гостю, который при нем никогда не курил. Белая аппетитная коробочка сверкала в черной руке с сиреневыми ногтями. Михаил сжал пальцами оранжевый выступ фильтра, вытащил сигарету и отправился на улицу. Шел по коридору, перед глазами, как смутный отпечаток, как развод, полустертый с оконного стекла, все еще держалась простодушная улыбка Абика.

*Если бы Сарафанов умел так непосредственно и легко улыбаться, не раздумывая взял бы его на главную роль... но он только подшофе убедительно играет. Жаль, Абик не актер... так органичен в своем баре...*

У входа в бар все то же движение и многолюдность. Режиссера обдало холодным, влажным воздухом. Он закурил. Иногда Дивилью казалось, что он разуверился в театре и начал видеть в нем только лживую искусственность, жалкую имитацию жизни. Выражаясь словами Михаила Чехова: «потерял чувство целого» — но сейчас об этом совсем не хотелось думать. Режиссер мысленно переключился на дочь. Через пять затяжек сильно раскашлялся — стало неприятно, но Дивиль не раздавил сигарету

в пепельнице, продолжал с жадностью глотать никотиновый поток — раздражающий, дерущий легкие дым.

*И пойдй в землю Мориа и там принеси его во всеожжжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе... На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека.*

## Явление II

Четыре года назад Арина Калинина перебралась из Оренбурга — одолели испытые физиономии, серость будней и душная теснота стандартных двори́ков, в свое время так щедро вырезанных советским серпом и вбитых казенным молотом по всей стране. Плененная столицей, девушка быстро оказалась в трудном материальном положении. Несмотря на готовность и желание работать, найти хорошее место оказалось непросто — большие оклады, обещанные работодателями на сайтах, чаще всего оказывались миражами, то есть чисто теоретическими возможностями получить красивую сумму, если будет выполнен нечеловеческий процент, однако на практике все работники довольствовались грошами — только вздыхали и перешептывались о тех редких случаях, когда кому-то из старичков удавалось сорвать банк.

Вообще-то ее переезд в столицу был достаточно спонтанным и не имел конкретной цели — просто девушка хотела уйти подальше от того, что окружало ее на провинциальной родине. Только и всего. Первое время Арина жила в комнате общежития Литературного института вместе с начинающим поэтом гомосексуалистом Андрюшей, который любил коктейль апероль шприц, Жана Жене, Земфиру и, как это вполне генетически оправдано, — однополое порно. Из этой незамысловатой тетрады и состоял, собственно, его вечерний досуг и более того, скажем так, вся надводная сущность личности поэта, который, впрочем, совсем не писал стихов, по крайней мере, Арина ни разу не видела, чтобы Андрюша вообще хоть что-нибудь писал или даже просто держал в руках бумагу с ручкой. Все время, пока он находился в комнате общежития, Андрюша в наушниках лежал под одеялом, уткнувшись в экран ноутбука и щелкал мышкой. Да и причастие «начинающий» тоже было трудно применимо к его персоне, поскольку поэту уже давно перевалило за тридцать, а он только щелкал мышкой, пил апероль шприц и слушал Земфиру. Короче говоря, все начинал и начинал. Собственно, единственное в чем Арина уверилась на его счет, что уж гомосексуалистом он точно был настоящим, причем отборным пассивом — худосочный мальчик с костлявыми лопатками ни секунды не таился перед девушкой и почти в первый же вечер раскрыл свои голубые карты. Он часто возвращался в комнату с букетом цветов, ставил их в вазу, падал на кровать лицом вниз и долго лежал так — зажмурившись и подложив под себя руки. По ночам Калинина в темноте рассматривала его — койка поэта стояла у противоположной стены — почему-то ночью девушке казалось, что лицо Андрюши гниет. Лица спящих, в принципе, особая категория — глядя на лицо спящего человека, можно рассказать о его прошлом и настоящем гораздо больше, чем после даже самого задушевного разговора; спящие лица счастливых детей, умиротворенных стариков, проживших хоть и тяжелую, сложную жизнь, но все-таки оставшихся в ладах со своей совестью, — эти лица всегда несколько светились в темноте, а вот лицо Андрюши как будто подгнивало, напоминая истлевающий в черноземе птичий костяк.

В двадцать два года Арина окончила Оренбургский государственный педагогический университет, аббревиатура которого состоит из четырех страшных букв ОГПУ — эхо наганной канонады и лязга железных засовов двадцатого века. Получив диплом, девушка сразу подалась в Москву и поступила на Высшие двухлетние курсы Литературного института, где ей дали комнату в общежитии на Добролюбова—Руставели. Поселили перво-наперво с взбалмошной истеричкой, отличавшейся

суицидальными наклонностями, едким запахом изо рта и нескончаемой, вопреки всякому лечению, молочницей. Арины хватило на месяц, после чего в договорном порядке поменялась комнатами с молодым суженым этой пахучей декадентки. Суженый первоначально как раз-таки проживал с гомосексуалистом Андрюшей. А в Литературный Арина поступила... Не то чтоб у нее имелись какие-то творческие амбиции, просто до истерики любила Платонова, а когда узнала, что в последние годы своей жизни гений-мученик провел в квартире, в которой сейчас располагается одна из аудиторий этого института, вопрос о том, куда поступать, решил сам собой. Девушка с большим интересом ходила на лекции и семинары, слушала, смотрела, впитывала, но писать ничего серьезного, за исключением нескольких экспрессивных монологов и скомканных эссе, не написала — Арина не чувствовала потребности высказаться, она чувствовала потребность — вдыхать. Отучившись и здесь, через два года начала кочевать по съемным квартирам. В связи со всем этим жилищным многообразием были в жизни Арины и тараканы в посуде, и измазанные старческим говном ковры в прихожей, и разговоры о ценах на подмосковный батон с картошкой, и гейское ню, боковым зрением случайно увиденное в ноутбуке Андрюши, и команды скорой помощи с запыхавшимся тонометром, чья резиновая груша, похожая на клизму, шипела, точно змея.

За общежитием последовало жилье на ВДНХ, где сдавала комнату матерая гедонистка — восьмидесятилетняя оторва-хохлушка «тетя Халя», как ее называла Арина, передразнивая украинский акцент старой нимфоманки. Тетя Халя стабильно оставляла на кухонном столе рядом с граненым стаканом свои зубы. Оранжевые тараканы взбирались на розовую полость бутафорского рта и с энтузиазмом копошились на вставной челюсти. Девушка обматывала пальцы влажными салфетками, прогоняла тараканов и перекладывала зубы в стакан с гигиеническим раствором, но после того, как Арина в первый раз наткнулась в ванной на забытый ею анальный фаллоимитатор, она стала воспринимать привычку оставлять челюсть на столе старческой невинной шалостью. Тетя Халя в принципе была женщиной очень колоритной и определенно нескучной.

Похожая на средневековую фурию с ядовито-рыжими волосами, она буквально сшибала с ног тех, кто ее видел впервые. Особенно обескураживали откровенные декольте, открывавшие шарпеистую грудь, и привычка пользоваться двумя помадами — она всегда обводила размалеванные под вишню губы черным контуром. Когда же тетя Халя раскрывала свой сластолюбивый и хищный рот, то это был даже не нокаут, а скорее удар палицей или алебардой — сальные анекдоты и воспоминания о былых похождениях вгоняли в краску даже самых матерых и тертых жизнью слушателей. Особенно пенсионерка любила рассказывать историю о том, как в год гагаринского полета в космос, будучи шестнадцатилетней оторвой, провела несколько ночей в каком-то «лесотехническом общежитии» и «подцепила там мандавошек». Тетя Халя шеголяла этими «мандавошками», как тщеславный солдат ранениями и шрамами. Арина могла только догадываться, почему «тетя Халя» так любила эту историю, — то ли это была бравада «прожженной суки», как пенсионерка себя иногда называла, то ли ей просто нравилось чувствовать себя хоть как-то причастной к полету Гагарина в космос, а может, все дело было в том, что у женщины не имелось ни детей, ни внуков, о которых старушки обычно так любят без конца рассказывать, поэтому тетя Халя рассказывала свою насыщенную сексуальную биографию, ибо о чем-то в конце-то концов нужно же рассказывать женщине в старости!

На второй или третий день совместного проживания старая хохлушка с гордостью продемонстрировала стальные кольца, вбитые у нее над кроватью. Арина по наивности не увидела в них ничего особенного, решив про себя, что это какой-то снаряд для старческой гимнастики, однако неутомимая бабушка умела произвести фурор: через неделю сообщила Калининой о том, что каждую субботу девушке нужно где-нибудь

«похулять с обеда часиков этак до пяти», потому что к ней всегда в это время приезжает ее Буратино, как женщина окрестила своего любовника не то за твердость характера и крепкие нервы, не то за какое-то другое его личностное достоинство, трудно сказать. Затем объяснила, что к этим самым кольцам она и Буратино время от времени приковывают друг дружку цепями, а после охаживают плеткой. Жить со старушкой было однозначно нескучно, Калинина частенько потом поминала БДСМ-бабусю добрым словом.

Однако через некоторое время Арине пришлось съехать — тетьа Халя скоростижно кончилась от сердечного переутомления на руках Буратино во время одной из своих БДСМ-процедур, родственники, братья и сестры старушки, предъявили свои права на квартиру и решили ее продать.

Калинина перебралась в Бутово к добросердечной бабе Томе, платонической старушке, настолько уже бестелесной, что, кажется, ела она не от голода, а по вековой инерционной привычке, по какой-то необходимости, больше обрядовой, чем физиологической, поскольку сам организм уже давно ни в чем не нуждался.

Баба Тома сначала долго присматривалась к постоялице, подбрасывала деньги, проверяя на честность, а потом прикипела к девушке душой и стала окружать заботой.

Как-то она неожиданно спросила:

— У тебя сахар есть?

Арина объяснила, что в шкафу над плитой много сахара.

— Да нет, я говорю, у тебя-то есть сахар?

Только через минуту Калинина догадалась, что речь идет о сахаре в крови, и засмеялась:

— Нормальный у меня сахар, баба Тома, а что вы запереживали?

— Ты сосальные конфеты сосешь? Бери, бери, хорошо будет...

После сближения пенсионерка начала откармливать девушку как на убой, а Калинина в свою очередь ходила по магазинам, убирала в квартире, в общем заботилась о старушке по мере сил. Бабушка копила на собственные похороны, но ей все никак не удавалось собрать нужную сумму, поэтому смерть постоянно приходилось откладывать — то мошенники с «Радио России» соблазнят бабу Тому каким-нибудь куском пластмассы под названием «Глазник» за шестьдесят тысяч, то всучат подушку от храпа за тринадцать тысяч, то стельки для сосудов — за двенадцать, то амарантовое масло — в общем умирать было определено некогда, и старушка без конца откладывала свою кончину до лучших времен. Когда Арина узнала про все эти безумные траты, которых набралось на полторы сотни тысяч рублей, то начала отбивать старушку у телефонных стервятников, угрожая им полицией. И все же, несмотря на идиллию в их отношениях, девушка очень тяготилась уровнем и условиями своей жизни.

Примитивная, однообразная работа, а главное — копеечная зарплата утомляли Калинину все больше и больше. Устроившись работать риелтором, за первый месяц она получила семнадцать тысяч, за второй — тридцать две, а в третий не получила ни копейки, так как не выставила ни одного счета, после чего уволилась и снова оказалась на свалке вакансий. Работала и в call-центрах, и в страховых компаниях — всегда за гроши. Гуляя по центру столицы, Арина видела, что девушки, гораздо менее эффектные, чем она, идут под руку с состоятельными джентльменами, садятся в роскошные автомобили, покупают одежду в дорогих бутиках и просто наслаждаются беззаботной, комфортной жизнью — и это больно кололо ее, разжигало чувство невольной зависти, к которой она никогда прежде не была склонна.

В конце концов добралась она и до роли официантки в «мужском клубе». Первая рабочая смена несколько ошеломила ее. Дикий шум, толкотня, слепящая светомузыка, ядовитые глазки стриптизерш, властные жесты гостей, подзывающих к себе мановением пальца, несколько вороватых прикосновений и пьяных, липких

шлепков по ягодицам — все это так ошпарило девушку, что утром она не сразу смогла прийти в себя. Особенно ее выбил из колеи эпизод с Лолой — официанткой, которая весь вечер помогала Арине освоиться на новом месте и просто мило с ней болтала. Под самое уже утро Калинина принесла кофе одному из постоянных гостей и вошла в кабинку в тот момент, когда ее недавняя наставница делала ему минет. Лола нисколько не смутилась, только мельком глянула на Арину и поправила сбившийся локон. Гость, откинувшийся на спинку дивана, улыбнулся остолбеневшей девушке и взял с ее подноса кофейную чашку.

Смушение «Святоши», как ее прозвали другие официантки и «стрипки», вызывало у них только усмешку. Грудастая Бэлла — двадцатилетняя армянка со стервозными глазами — была уверена, что Арина скоро продаст себя, поэтому поспорила на десять тысяч со своей белокурой подружкой тошенькой Софией, считавшей что Святошка все же выдюжит. Посочувствовала новенькой лишь Алсу, заместительница управляющей, которая стояла в клубе особняком. Алсу нельзя было отдаваться гостям — это было бы равносильно краху карьеры в Москве, где ее слишком хорошо знали, так что служи она каким-нибудь архиереем, и тогда не дорожила бы своей репутацией так, как сейчас. Она поработала во всех самых крупных заведениях подобного формата, была в курсе всех самых изощренных вкусов власть имущих и знала немало чужих секретов. Была свидетельницей того, как некоего «лишнего» человека вывезли в лес и прострелили ему висок из охотничьего карабина. Хозяева ценили Алсу за то, что, барахтаясь в этом сумеречном водовороте, она все видела, слышала, но молчала, оставаясь обаятельным привратником дворца запретных наслаждений. Несколько лет она прожила в браке с одним криминальным авторитетом, родила от него сына, но три года назад муж умер от передозировки героина, и теперь молодая вдова воспитывала малыша самостоятельно.

Алсу с пониманием отнеслась к терзаниям новенькой, успокоила ее и взяла под крыло, объяснив, что в любой рулетке самое сложное — умение вовремя остановиться: «Хочешь хорошо заработать и остаться чистой? Когда придет время, просто сумей выйти из игры».

Алсу призналась, что за многие годы работы сама неоднократно была близка к капитуляции, так как вопреки стереотипам о карикатурных миллионерах с тремя подбородками, в действительности многие гости — это настоящие красавцы с акульими зубами, крепкими затылками и кулаками; ее всегда восхищали безграничная жестокость и хитрость этих беспощадных и богатых мужчин, опасных, как оголенный провод, которых она считала истинными повелителями жизни.

На тех простых ребят, что пытались знакомиться с ней на улице, Алсу смотрела с полным пренебрежением. Она была убеждена, что жить честно может любой дурак, а красть миллионами и при этом оставаться в рамках закона способен только настоящий гений. Она презирала тех, кто обличал нечистых на руку воров-смельчаков, потому что слишком хорошо знала: в глубине души у большинства из этих судей скрываются воспаленные мечты загребать капиталы той же самой лопатой — просто осуждающим серым и трусливым мышкам не хватает решительности.

Арина молча слушала и запоминала, но по окончании разговора сказала, что прекращает стажировку. Умная Алсу только улыбнулась и ответила, что все равно будет ждать ее. И действительно, когда девушка вернулась к тараканам и бабе Томе, когда бросила звонкую связку ключей на скрипучую деревянную тумбочку, стянула с себя туфли, стала пересчитывать деньги и насчитала восемь тысяч с копейками, отвращение к брошенной работе сильно повыветрилось, тем более что таких заработков, как в клубе, больше нигде не найдешь. Подобную сумму она получила при всем том, что гостей девочки обслуживали сами, а она была лишь на подхвате. Так что Арина попридержала эмоции, вернулась в клуб и прошла всю стажировку. Сначала стискивала зубы, а затем научилась держать себя так, как Алсу, — с естественной веселостью и



сдержанным достоинством, изящно и непринужденно перепрыгивая через грязные потоки. И сама искренне удивилась, обнаружив, насколько точно распознают ее внутренний настрой даже самые пьяные гости, — с тех самых пор, как Арина научилась плавать среди столиков с грациозностью парусника, ни одна потная ладонь не легла на ее ягодицу.

Вообще психологическая тонкость отношений в кабаре, к которой Калинина долго присматривалась, бесконечно ее поражала. Завсегдатаи заведения, если не считать экономических «гениев-дельцов», в большинстве своем отличались плебейской неразвитостью и необразованностью. Это были наглые ловкачи, нахапавшие капиталы еще в девяностые, однако все без исключения какой-то своей первобытной чуйкой безукоризненно просчитывали, что можно, а что нельзя. Когда в зале появлялись политики с охраной или криминальные авторитеты, сидящие за одними столиками с прокурорами, даже самые разгулявшиеся богатеи давали задний ход и быстренько нащупывали границы дозволенного. Та же самая деликатность, если это отношение можно было так назвать, проявлялась и в отношении к «чистым» девушкам.

Интересно, что подобное же разделение на «чистых» и «нечистых» установилось между самими гостями с той лишь разницей, что оно основывалось на критериях богатства, влияния и опасности. Выскочек, которые тянули на себя одеяло и пытались выдавать себя не за тех, кем являются, охотно учили — залетную птицу с робким кошельком и наглым гонором моментально определяли и с удовольствием прилюдно ставили на место раз и навсегда.

Со временем Арина начала даже любить свою работу. Тем более, что в те смены, когда всем официанткам было нужно выходить в зал с обнаженной грудью, Алсу не ставила ее в график — об этом попросила сама Арина. Со своей безопасной позиции «чистой» девушки она наблюдала, с какой энергичностью гости топтали презренных «подстилок» — тех, кто продался хоть раз, уже никогда не прощали, постоянно напоминая им, что они товар. Таких девушек могли взять с собой в машину на прогулку по ночному городу как увеселительный багаж, а потом в гараже отдать своим охранникам для временного пользования на каком-нибудь брезенте. Поначалу эта циничность пугала Арину, но потом она признала своеобразную справедливость подобного отношения.

Поскольку проституция в России запрещена, обычно вся лирика переносилась в почасовые номера пристроенной к клубу гостиницы или, если гость желал, он заказывал услугу «увольнение девушки на ночь» и мог взять ее хоть к теще на блины; главным условием было возвращение проститутки «на базу» к шести часам утра, после чего карета превращалась в тыкву, а золушка выкладывала гонорар в кассу. Все извращения заранее согласовывались с девушкой, и если клиент проявлял самостоятельность или нарушал соглашение, то его ждали серьезные неприятности от «опекунов» клуба. Заведение брало пятьдесят процентов от собранной бабочками пыльцы, а в конце месяца выдавало выстроившимся в очередь труженицам уполовиненные зарплаты с вычетом штрафов за нетоварный вид и плохие прически.

«Чистые» девушки в кабаре были исключениями, так как в заведении продавались все — у охранников, менеджеров, официантов и даже уборщиц, не говоря уже о стриптизершах была своя цена. Впервые Арина узнала об этом, когда владелец какого-то торгового центра, купивший себе шесть девочек, бросил на танцпол котлету банкнот и потребовал, чтобы все, кто находился в арендованном им зале, разделись и приняли участие в его забаве — отказавшихся уволили на следующий день. Бизнесмен организовал всеобщую случку, подводил голых охранников к проституткам, официанткам, менеджерам — его огорчало, что он хоть и может купить всех присутствующих, но не в состоянии использовать такое количество тел. Арине удалось незаметно выйти из VIP-зала и избежать участия в оргии. Другой шутник-миллионер

как-то купил себе на два часа престарелую уборщицу — бабушку-пенсионерку, отдавшую полвека работе в колбасном цехе, а теперь трудившуюся полумойкой.

Время от времени в клуб заглядывали толстосумы и покупали себе на неделю десять-двенадцать проституток, которых брали с собой на охоту — пока компания мужчин охотилась в лесу, девушки на загородной вилле играли в домохозяйек и весь день готовили еду, а по возвращении охотников устраивался фуршет-бикини. За такой выезд на природу девочки получали по сто тысяч рублей, если не считать разных подарков и множества впечатлений.

Калининой предлагали присоединиться, но та отказывалась со смешанным чувством — с гордостью и обидой за насмешки, но когда заметила, что повара на кухне и мойщицы как-то особенно смотрят на нее, когда она подходит, чтобы забрать заказы для гостей, двойственное отношение исчезло: уважительный, теплый огонек в глазах простых работяг стал ее маяком.

Проститутки заведения делились на две категории — те, кто любят секс, и те, кто любят деньги. Двадцатилетняя стриптизерша Лиза по кличке «Зеленка», главный враг Арины с татуировкой дракона на спине — чернявая и смуглая, похожая на задиристую пуму, — относилась к первой категории. Она ушла из дома уже в четырнадцать из-за каких-то подростковых обид на родителей; будучи типичным акселератом, очень рано лишилась девственности, а оставшись на собственном попечении, зарабатывала на дороге, пропуская через себя за бесценок проезжающую по трассе шоферню, пока ее не подобрал один олигарх, пораженный безумной красотой ребенка. Он увез Лизу в загородный дом и занялся ее перевоспитанием. Чтобы девочка не сбежала, он побрил ее наголо и густо намазал всю голову зеленой. Никаких грязных намерений у него не было, он не касался девочки и пальцем и смотрел на нее как на дочь — одел ее, нанял репетиторов и возил к психологам. Зеленка была совершенно безграмотна и неразвита, а вместе с тем одержима жаждой бесконечного секса, олигарх запирали ее в четырех стенах, наблюдая за ломкой — буйными истериками, припадками и постоянной мастурбацией. Через два года не просыхавшие прежде родители-алкоголики по неизвестной причине вдруг спохватились и, угрожая судом, добились возвращения дочери в отчий дом. Лиза отрастила волосы и вернулась на панель, только на этот раз она предпочитала работать в ресторанах, куда приходила с подругами и ждала, когда их начнут разбирать подвыпившие гости.

Другая проститутка, также не переносившая Арину на дух, — «Машка-кислотница» с пирсингом в языке и левой ноздре — относилась ко второй категории. Она одевалась, как рэпер-пацанка со стильной короткой стрижкой и волосами, крашенными в ослепительно-ядовитую фуксию. Работала она под ЛСД, стабильно закидывая в себя по четвертинке, а то и по половинке бумажной марки, пропитанной раствором. Галлюцинации и плавающие, упругие стены не только не мешали ей работать, но превращали постельную рутину в чувственное сновидение.

Кислотница любила кататься по ночной Москве за рулем своего черного гелендвагена и под грохот колонок мотать розовой макушкой в спортивной шапочке — со стороны она походила на плюшевую собачку-присоску, болтающуюся за лобовым стеклом. Мало кто из других проституток понимал, как Машка может идти к клиентам под ЛСД. В основном они употребляли кокаин или амфетамин, вызывающие чувство бодрости и прогонявшие сонливость, иные предпочитали экстази, дававшее состояние сильнейшей эйфории часа на четыре.

Марине-пенсионерке было сорок, предпочитала водку с томатным соком. Еще на волне вдохновенных фильмом Тодоровского интердевочек прошла закалку девяностых и не стала менять свой стиль, продолжая носить колготки в крупную сетку и кожаные перчатки с обрезанными пальцами — этим, собственно, и брала, давая возможность поностальгировать вчерашним малиновым пиджакам о постсоветской шальной России-бесприданнице. Пенсионерка со стахановской стабильностью,

как лошадь извозчика, обслуживала иногда по семь клиентов за ночь, так что в скором времени купила трехкомнатную квартиру, кроссовер и устроила сына в элитную гимназию.

Даша-стрипка — жена клубного диджея — одно время просто танцевала, оправдываясь перед мужем тем, что для нее это исключительно творческий, платонический процесс, потом, соблазненная легким и очень прибыльным образом жизни девочек, уволилась, чтобы избавиться от контроля со стороны благоверного, и подалась в гостиницу, буквально перепрыгивая из номера в номер, дабы накопить денег на свою заветную мечту — силиконовую грудь и пластику носа.

Линда-трансвестит: истинная арийка, характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживала хорошие отношения. Безукоризненно выполняла свой служебный долг. Беспощадна к врагам Рейха. Связей, порочащих ее, не имела... Сделала себе операцию, потому что за время своей гетеросексуальной карьеры стала лесбиянкой и решила наконец поработать для души. Пичкалась стероидами и все свободное время не вылезала из качалки — походила на бодибилдера-любителя: ее частенько выдергивали для бисексуальных забав.

Кислотница и Зеленка однажды попытались известить Арину. Как-то Машка принесла шприц с вич-инфицированной кровью, которую взяла у недавно уволенной из бара подруги — та вернулась к себе на родину к маленькому сыну и, одержимая жадной мести, начала массово заражать мужчин Екатеринбург до тех пор, пока не спровоцировала в городе серьезную эпидемию и не угодила под суд. Проститутки хотели заразить и Калинину, незаметно впрыснув ей под кожу смертоносное содержимое, но охранники увидели шприц с кровью, и злодейкам пришлось избавиться от улики.

### *Явление III*

Сегодня весь день репетировали. Арсений Орловский играл в спектакле второстепенную роль. Сейчас он стоял под козырьком автобусной остановки и рассматривал прохожих, зевал. Глубоко засунул руки в карманы пальто. В наушниках — альбом «Девушки поют». Длинное вступление Джона Медески, бьющего по клавишам, — и ликующий, обрывистый хохоток в самом начале «Роган Борна». Запись с винила, поэтому пианино обволакивает вкусный и трескучий шепоток дорожки.

Закулисная болтовня-суматоха давно опостылела: все эти самоутверждения на разные лады, позы и вариации вызывали неподдельное отвращение. Видимость дружбы, задушевные интонации, за которыми ничего не стоит. Арсений держался особняком и подпускал ближе лишь немногих; после тридцати лет всегда настороженно заглядывал в глаза новых людей, как в стакан с водой, который собирался выпить.

Вечернее течение толпы разбивалось об остановку, обтекало ее с двух сторон. К Медески присоединились гитара Марка Рибо и Леонида Федорова, гобой, труба и барабаны, Волков вспарывает и потрошит контрабас — все переплелось, смешалось, обрушилось. Арсений закачал головой в такт музыке. Накрапывал мелкий дождь, похожий на водную пыль. Из рта поднимался пар и растворялся в тягучем городском воздухе, перенасыщенном металлами и автомобильными выхлопами. Глянцевые блики на мокром асфальте. Перед глазами Орловского мельтешили галстуки, очки, большие круглые пуговицы, наручные часы, экраны мобильных телефонов, грязная обувь, вязаные шапки — он не видел лиц, только поток вещей.

В ушах звучало заклинание Озерского, голос Федорова вешал:

Тень Рогана Борна  
Нет, выбери небо  
Мне не говори не так  
Передо мною  
Ночь сине-зеленая...

Мимо проходил молодой парень в красном пуховике. Зацепился глазами за Арсения, остановился, шагнул ближе и, увидев, что он в наушниках, подставил к губам два пальца. Актер отрицательно качнул головой.

— Не, не курю, — подняв меховой ворот влажного пальто к подбородку, сказал громче, чем было нужно.

Это не то, что я  
Это уже мое.  
Солнечная моя,  
Раненая ее  
Передо мною нет,  
Передо мною я...

Сжал в кулак обтянутую коричневой кожаной перчаткой руку — кожа скрипнула. Нетерпеливо постучал пальцами по грязной стеклянной стенке остановки. Наконец увидел Николая Сарафанова — про таких, как он, говорят по громкой связи в метро: «Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных лиц или вещей в вагоне поезда следует немедленно обратиться...»

Сарафанов шел со стороны главного входа. Арсений скинул наушники и подался навстречу, недовольно толкнул приятеля плечом, чуть наклонившись, так как был выше на полторы головы.

— Наконец-то разродился... ты че там застрял? Я замерз, пока ждал.

Николай расплылся в улыбке:

— Не бузи, май френд, я статисточку новую цеплял, она, блин, замужем, хотя, может быть, слить меня так решила просто. На пальце вроде кольца не было, — приобнял Орловского, положив руку ему на плечи. — Ну что, трактирная душа, приступим к разврату? — пахнуло хорошим табаком и оксолиновой мазью.

Арсений смотрел на лицо Сарафанова в упор: толстые волоски жесткой щетины на пористой коже, шрам поперек левой брови, желтые от налета нижние зубы, губы шевелятся:

— Сегодня репетиция — говно полное, надо с горя выпиться... Пойдем в ресторанчик какой-нибудь забуримся...

Орловский шмыгнул носом и поежился:

— У нас завтра опять репетиция, надо выспаться...

Николай фыркнул:

— Я т-я умоляю, еще Спиноза говорил: «Если русский мужик решил ничего не делать, то его уже никто не остановит». Конец цитаты.

Арсений с усмешкой глянул на друга:

— Так и сказал?

С видом знающего человека Сарафанов утвердительно кивнул.

— Зуб даю, что да... А может быть это Кант в «Критике чистого разума» утверждал или Махавира проповедовал, не помню уже... В общем, как поговаривали на Киевской Руси: лучше сто раз сходить к наркологу, чем один — к венерологу.

Орловский улыбнулся:

— Это еще почему?

— Потому что у нарколога все очень даже филантропичненько, а у венеролога одна сплошная мизантропия.

— Ладно, мизантропия, пошли уже хоть куда-нибудь, у меня скоро в одежде сеledка заведется, ты же знаешь, что я зонты не люблю, — Арсений потрепал Николая по мокрому затылку. — Честно говоря, мне безразлично, куда мы двинем, главное, не одному в пустую хату тащиться...

Расплывающийся под ногами асфальт. Талый снег — бурая гуща чавкает и

облизывает подошвы. Потемневшие скамейки, сигнальные гудки и шум колес, выплывающих на тротуар солоноватые брызги.

Когда проходили мимо главного входа театра, Орловский кивнул в сторону Андрея Суккуба и Тани Добрыниной, стоявших на крыльце.

— Коль, ты видел? Судя по расстановке героев, мимике и жестам, там шекспировские страсти с кровавым финалом.

Сарафанов мельком глянул на парочку.

— Я лицезрел, я все всегда лицезрею еще раньше тебя, май френд. У меня же не глаза, а пожарные насосы... я чумичку — не хочу, я чумичкой поверчу... парампампам...

Николай вечно напевал какую-то чепуху, Арсений к этому уже привык. Он оглянулся на размытые контуры двух фигур — Добрынина и Андрей стояли на блестящем от воды крыльце, выделяясь на фоне серой стены театра. Особенно отчетливо виднелась белая ветровка Тани, Суккуб минутами почти сливался с крыльцом, только иногда кожа его плаща поблескивала на рукавах и плечах. Фонари наполняли тонкие косые струи мелкого дождя желтушным светом: падающие капли казались горящими иглами. Добрынина что-то возбужденно проговорила, вскинула ладонь и побежала к припаркованной рядом машине, прикрываясь сумочкой от косых светящихся нитей дождя.

Орловский повернулся к Сарафанову:

— Давно пора... Суккуб ее за собой только тянул в весь этот бефстроганов... Девчонке семью нужно, а она все в подростках с ним куролесит... Помнишь, Сарафан, как в семнадцать лет по паркам со своими шлялись? А зимой в подъездах уголок искали, чтобы мочой не пахло... Дома родители, денег на съемный квадрат нет, вот и слонялись... Я, когда на Танюху с Суккубом смотрю, чувствую, что они чем-то похожим занимались на протяжении всех последних лет... По сути, подъезды или рестораны — разницы нет ведь.

Николай усмехнулся:

— Я т-я умоляю, домострой, чья бы корова мычала?! Самому под сорокет, а все холостой, как двадцать шесть бакинских комиссаров.

— Бох ты мой, они-то здесь при чем, Коля? Что за дичайшие сравнения?

Сарафанов неопределенно пожал плечами:

— Молчи, сучий брызг! Вира-майна, хенде-хох и киокушинкай!

— Ой, ну тебя к лешему, с тобой невозможно разговаривать серьезно... Мужик упроще семью завести в позднем возрасте, так что не сравнивай... А вообще, может, ты и прав... я просто факт констатировал, — Арсений проводил глазами проехавшую мимо серебристую хонду, попытался разглядеть водителя, но машина разогналась быстро, и он успел увидеть только мелькнувшую белую ветровку Тани.

— Сарафан, скажи, что за тип ее новый мужик? — спросил Орловский. — Что-нибудь знаешь о нем вообще? Хороший? Я за Танюшу нашу хоть порадуюсь.

Николай кивнул и затараторил:

— Да, Милка нахваливала. Она Танюху после каждой репетиции пялила за Суккуба, все склоняла ее к точкам-троеточиям... типа: хватит сношаться, да здравствует любовь — великая и чистая, как ласка дельфинят... ну и в этом стиле разное задротство... Милка вместе с ней была, когда Танюха с мужиком этим познакомилась... на выставке какой-то — то ли Ротко, то ли Мондриана, в общем прямоугольники какие-то, не помню, я с похмелья был. Меня пигалица одна на эту выставку тоже таскала недавно, я ее там в туалете порол потом. Кстати, в этом музее вполне себе просторные кабинки, рекомендую, все как у белых людей, даже заморскими цветами пахнет... Ну вот, значит, Владимиром его зовут, что ли, Доросовым, по-моему. Милка увидела его в одном из залов, сама Танюху к Добрынину подтолкнула, чтобы та флюиды зазывательные начала разбрасывать и клитором помахала ему... Клитор — он же как киль корабля, надежная, сука, вещь, как плечо товарища... как красный буюк

династии Бабуридов дель Фазаньеро. А мужик, да бизнесмен какой-то, хер его знает, но Мила сказала: «порядочный и думающий», хотя баб слушать тоже, сам знаешь... такую ассамблею иногда несут.

— Ты, наверное, хотел сказать, ахинею?

— Во-во, так и говорю: ассамблею несут несусветную, клянусь Моникой Левински, аж уши чешутся.

Некоторое время шли молча, затем Сарафанов заглянул в глаза Орловскому:

— Слушай, май френд, а ты хочешь вообще семью или просто на отвяжись думаешь жениться, чисто так, чтобы детей только оставить?

Орловский ответил не сразу. Навстречу шагали серые прохожие, уткнувшиеся в воротники. Пожилая дама в каракулевой шапке чуть не выколола ему своим зонтиком глаз. Арс смотрел вперед, приподняв подбородок, потом склонил голову к приятелю:

— Не знаю, я свободу люблю. Но вообще как-то плюгавенько все, не столько семью, сколько перемен хочу... Семья — это слишком конкретно и немного пугает даже своей определенностью, просто переменить нужно что-то в целом, во всей жизни... Встрянуть, как старый ковер палкой шарахнуть и пыль выбить... Не могу точно сказать... Хотя, может, реально жениться?

Орловский посмотрел в упор, Сарафанов не удержался и оскалил зубы:

— Ты хочешь сделать мне предложение, милый? Ха-ха, свершилось! Мужуку тридцать семь, а он спрашивает, не пора ли жениться?!

Арсений закашлял сквозь смех:

— Ну тебя, пошел в жопу, я серьезно говорю... Джим Хендрикс уже в двадцать семь умер. Артур Рембо к девятнадцати перестал писать стихи, а я все какой-то херней маюсь, хотя уже под сорокет... Слушай, вечно у тебя шуточки про мужеложество и сортиры. Будь оригинальнее уже... А про Ротко с Мондрианом... они с недавнего времени цепляют, кстати, но даже при этом, на мой взгляд, не стоят того ажиотажа, с каким носятся вокруг них... С Врубелем так не носятся, с Мунком и Тёрнером, Климтом... а вот поди ж ты, носятся именно с Мондрианом и Ротко... Так что это уже какая-то неопластическая, абстрактная мания, по-моему, или даже кризис, не знаю... То, что они сделали в прошлом, — однозначный прорыв, но для сегодняшних художников их прорыв прошлого — это тупик будущего, потому что сколько бы они ни черпали в Ротко и Мондриане вдохновения, идти за ними — дохлый номер, хотя бы потому что дальше Ротко и Мондриана уже ничего нет, там пустота, чистый холст, как и за Пикассо, который не столько художник, сколько трикстер был гениальный... А современные художники все равно идут и подражают без конца... Я уже не говорю о том, что Георгий Нисский опередил Ротко лет на десять во многом. Ты его «Над снегами» видел? Или закатную рокаду? Композиция цветовая — вылитый Ротко, только без деталей, а это уже в пятидесятые годы сделано Нисским... Ротко позднее начал свои ключевые вещи делать.

Машины гудели. Морозящий дождь усиливался. Капли становились жестче, плотнее, начинало подмораживать. Перед глазами замелькали колючие снежинки — покусывали лицо, прилипали и быстро таяли. Над тротуаром покачивались блестящие зонты.

Сарафанов отмахнулся:

— Я чумичку не хочу, я чумичкой поверчу... Ты сам знаешь, я из живописи только наскальные рисунки верхнего палеолита люблю — Шове, Альтамира, Ласко, а в остальном мой любимый художник — женские гениталии и сорокаградусный алкоголь... И как справедливо ты меня клеймишь всегда: да, я плебей, и ничто плебейское мне не чуждо... А насчет семьи, ты знаешь, не скажу, что я прям рад, но... меня приятно удивляет, что ты заговорил о браке... мне кажется, ты давно созрел... по-моему, самое время, а то высохнешь, как вяленая барракуда... Кстати, тебе никто не говорил, что ты очень смешно выговариваешь слово: «муже-лож-ство»? У тебя лицо такое стыдливо-

обескураженное стало и чуть припугнутое... как будто все мировые «ложства» на тебя в эту минуту обрушились только что... Вообще «мужеложство» и «бесчинство» мои самые любимые слова... если у меня когда-нибудь будут дети среднего рода, я обязательно назову их в честь этих прекрасных слов... Мужеложство Николаевич и синьор Бесчинство де Сарафаньеро-Франциско идальго Уринотерапевтический и Кентерберийский...

— Слово просто смешное... Мне кажется, его с серьезным лицом только священники могут произносить, — Орловский прокашлялся в кулак, обтянутый перчаткой. — А насчет женитьбы, да с твоими гулянками постоянными высохнешь тут... Так что не надо, ты сам без семьи фактически: сына своего раз в год видишь, а бывшая жена тебя закажет скоро кому-нибудь... это как есть... устроит тебе мужеложство рано или поздно.

— Арс, я-то хотя бы попробовал разок... а ты ведь даже не брыкался, притом что я моложе на пять лет.

Арсений не ответил, ему вспомнилась Лика. Перед глазами — ее глаза, моментальным образом, ассоциацией. Врезалась в сознание печатью, отчетливым контуром. Красавица была редкостная, даже по меркам избалованного женским вниманием Орловского.

*Хорошая она, добрая, живая... Матерью была бы прекрасной. И смеялась так целомудренно, но вздох... как ребенок в воде плещется. Всегда, когда вспоминаю ее звонкий смех — сам улыбаюсь.*

Прожили вместе с ней года полтора. Все произошло стремительно — с той скоростью, с какой Арсений потерял к девушке интерес, понимая, что с Ликой он не совсем «он», вернее, совсем не «он», то есть только какой-то осколок своего «Я» — мужское приданое, а не цельный, раскрытый и сбывшийся человек. Орловский слишком хорошо помнил себя с теми девушками, которых он по-настоящему любил, с ними казалось, что вернулся домой, что смотришь в глаза матери, дышишь ей в шею, а Лика — Лика просто баснословна красива, у нее ошеломительное тело и дивный темперамент, но она в глазах Орловского всегда была экспонатом с выставки, чем-то вроде породистой кобылы или парадно-выходного костюма, но не частью жизни, не самой жизнью. И если первое время Арсению льстило, что окружающие мужчины сворачивали себе шеи, когда они с Ликой куда-нибудь шли, то потом это стало даже тяготить. А вообще актер понял, что у них не получится ничего серьезного, уже в самом начале — после того, как дал замерзшей Лике свой свитер. Лика считала, что совместное ношение одной вещи их сблизит... Когда она вернула свитер через неделю, попросила не стирать. Арсению хватило одного дня, пропахшего ее духами, чтобы понять: у них с Ликой нет будущего. То, что он все же переезжал к ней на время, было скорее недоразумением или своего рода экспериментом. Оглядываясь назад, ни о чем не жалел. Арсений всегда ловил себя на мысли, что у большинства художников незаконченные эскизы гораздо интереснее, чем готовые вещи. Особенно у Леонардо. Слишком многое в жизни было подвержено той же самой закономерности.

— Блин, Коля, давай голосовать или в такси брякнем, доедем на Ваньке — у меня ноги, как у сборщика риса.

Сарафанов дернул друга за рукав, потянул за собой:

— Побойся бога, Арсюша, мы почти на месте уже... Вон они торчат уже, высоточки «Москва-Сити», как будто не видишь...

— Только не говори, что ты меня опять в этот пафосный бар ведешь... нет, это прекрасное, конечно, заведение, но у меня дым из ушей идет, когда я туда попадаю, настолько усердно приходится фильтровать там публику — толстосумы, которые ищут дорогих девочек, чтобы их трахать, и дорогие девочки, которые хотят чтобы их трахал толстосум, потом те, кто косит под толстосума, чтобы трахать дорогую девочку,

не говоря уже обо всех этих разодетых провинциальных красоточках, которые хотят, чтобы их трахал толстосум или хотя бы тот, кто косит под толстосу́ма...

— Да осади ты уже, Арс, не пойдем мы ни в «Аист», ни в «Valenok», я в другое заведение тебя тащу... блин, шкура, да мы в другом конце города вообще находимся сейчас, ты о чем? «Аист» на Малой Бронной же, а «Valenok» на Цветном... ты как обычно пьяный был тогда, даже в географии заблудился, май френд.

— Пес с тобой, тащи меня куда хошь уже... ты мне никогда не нравился.

Поднялись на улицу, вошли в башню «Москва-сити», оказались в теплом облаке разогретого кондиционерами воздуха. Поднялись на лифте, несколько шагов по торговому центру, и вот стеклянные двери — на всю стену ресторана красовались два огромных аквариума. Большая часть столиков свободна. Играла приглушенная музыка, пахло кофейными зернами и ликером. Потолок подсвечивался неоновыми лампами. Бутылки на полках отражали округлые отблески света.

Николай потерял руки и шмыгнул носом.

— Брр, наконец-то... я ооченел вообще. Легко слишком оделся...

Скинули мокрую верхнюю одежду и сели на диван.

Официант подошел почти сразу. Он как-то слишком уж внимательно смотрел на Арсения.

— Вы случайно не актер? Мне ваше лицо кажется очень знакомым...

— Случайно актер...

Официант несколько смутился под вопросительным взглядом Орловского.

— Меня зовут Марк, сегодня буду вас обслуживать... Что желаете?

— Глнтвейн, бутылку восьмилетнего рома и кофе еще. Американо с молоком.

— Два кофе, — вклинился Сарафанов. — А в остальном я солидарен со своим другом...

Марк записал заказ в блокнот и повторил заказ, подал меню.

— Кушать будете?

— Нет, благодарю, пока не нужно.

Когда официант ушел, Орловский огляделся по сторонам.

— Блин, Сарафан, а чего так пусто? Куда ты меня привел вообще? Я думал, тут хоть красивые девушки есть...

Несколько занятых столиков с малоинтересным контингентом и за баром похожий на вечного девственника одинокий прилизанный мужчина в толстых прямоугольных очках и салатовых носках, выглядывающих из-под штанин. Он пил мандариновый лимонад из высокого бокала — посасывал напиток из розовой трубочки; когда напиток закончился, на весь ресторан раздался нелепый звук.

Приятель почти одновременно, ни слова не говоря друг другу, покосились на салатовые носки, торчавшие из-под коротких штанин.

— Сарафанов, этот втыкающий маргинал с розовой трубочкой точно твой клиент... будешь знакомиться с красавчиком или мне оставишь? Слушай, я думаю, он под крэком или мефедроном... Бох ты мой, какой мужчина...

Николай отмахнулся от иронии и глянул на часы:

— Ой, тапан, не смешите мои придатки... больше на обычный пластилин похоже, откуда у этого отличника крэк... Знатный такой обсос, ничего не скажешь... И я не понял, ты чего воду мутишь, шкура? Скоро должен народ подтянуться... все движение около восьми начинается обычно, — Сарафанов сложил руки на столе и наклонился вперед, посмотрел на друга с веселым, почти цыганским азартом. — И вообще, домострой, кто-то жениться хотел, чего это ты вдруг об отсутствии женского пола забеспокоился? Или ты здесь жену найти хочешь?

Арсений улыбнулся, хотя по глазам было видно, что ему тоскливо.

— Ага, курортницу без предрассудков, — он прищурился. — А ты опять в туалете собрался кого-нибудь сношать, дурик? Ты же любитель у нас... Признавайтесь,



Николай Вениаминович, как на духу, что именно вас возбуждает в этом процессе — вид керамики, звук сливного бочка или исключительно этическая сторона процедуры?

Сарафанов моментально вошел в образ:

— Первобытная страсть неведома вам, милостивый вы мой государь, Каллистрат Авдотьевич... Ах, Каллистратушка, Каллистратик, родной вы мой, барон фон Авдотьевич, мне ли гимназические истины разжевывать вам, господин коллежский ассессор? Не вам ли меня, старого штабс-капитана, понять, милостивый мой государь Каллистрат барон фон Авдотьевич, ведь и вы в бытность молодости своя бывали гимназистом!

Орловский улыбался.

— Ты ужасен, Коля, ты просто ужасен... Ты безнадежный плебей, Сарафанов...

Николай щелкнул пальцами и хитренько подмигнул, заговорив нормальным голосом:

— Когда речь идет о сексе, дело не в возрасте, а в коэффициенте полезного действия, и вообще, как всем неудачникам говорила моя классная руководительница Полина Альбертовна: «Главное не победа, а участие»... В конце концов у меня к ним ничего личного, я совершенно бескорыстен: дал на клык и отпустил — большего мне не нужно, я человек скромный, простой... Кстати, а у тебя в каком самом необычном месте было?

Арсений нахмурился:

— Слушай, как бы ты не обыгрывал всю эту пошлятину, тема меня уже напрягает... давай закончим твои постельно-туалетные тирады, а? Что за подростковщина на тебя нашла?

Сарафанов не унимался:

— Скажешь и обещаю, что отстану сразу, будем говорить о мадоннах, трансцендентальности и сиропе от кашля... Ну, давай, давай, шельмец, колись, именем Томаса де Торквемада заклинаю, признавайся, башмачник, старый шелудивый пес!

Арсений надул щеки и резко выдохнул:

— Ты мертвого достанешь, не отцепишься же... Ну, на Андреевском мосту, как к парку Горького идти, который застекленный... Ну, подъезды, парки — это проза юности... В пустом вагоне метро тоже один раз как-то было...

Николай затряс головой и начал трясти указательным пальцем перед лицом Орловского:

— У-у-у-у... как ты неизобретателен и по-мещански приземлен... В метро! Я-тя умоляю, Арс, это же вульгарно! Клянусь министром путей сообщения и забальзамированной совестью Ильича, у тебя плохой вкус... я уже не говорю о том, что там камеры везде. Скрасил досуг машинисту.

— Слушай, сейчас везде камеры вообще, и что теперь — не трахаться, значит?

— Да, это резонно.

Официант принес заказ, блюдо с нарезанными апельсинами, посыпанными корицей, и два стакана.

— Вам разлить?

Орловский отрицательно качнул головой. Почувствовал, что Марк хочет завязать разговор, но отвернулся и дал понять, что не настроен на контакт, поэтому официант ушел. Арсений молча взял бутылку с ромом и наполнил стаканы, а потом плеснул ром в кофе себе и Сарафанову. Отпил из чашки, после нескольких глотков крепленая горечь расплзлась по языку и влилась внутрь. Стало тепло.

Николай опустошил стакан, на секунду зажмурился, затем удовлетворенно откинулся на спинку дивана. Арсений подождал, когда официант отойдет подальше, потом спросил:

— Ну, а у тебя, дурило?

Сарафанов насупился:

— А я в монастыре.

Орловский внимательно, без улыбки смотрел на насмешливого друга:

— Ты серьезно, что ли?

— Ну да...

Арсений скривился:

— Слушай, по-моему, это какое-то уже утонченное свинство. Ты в своем стиле — то в клозете, то в храме — как истинный хабал, топчешь все, что только можно топтать, любые рамки...

Николай ударил себя в грудь кулаком:

— Я чист, как товарищ Берия после первого причастия, целомудрен и сладок, как Феликс Эдмундович Дзержинский с воздушным шариком и букетом ромашек в жопе... клянусь отечественной венерологией, — после сказанного Сарафанов, как будто что-то вспомнил и сильно смутился — улыбка исчезла с лица, он помрачнел с обычно свойственной ему резкостью перепадов настроения.

— И давно? Что ты там делал вообще, каким ветром туда занесло?

Николай неопределенно пожал плечами:

— Да лет десять назад, наверное, жил там почти полгода... сам знаю, что свинство, им пришлось после меня дом освящать, как после демона... рядом с монашеским скитом келья, вот в ней... туда ко мне девочка завалилась одна из Москвы... хотели просто пообщаться и фильм посмотреть, но кончилось все как всегда — вообще, по-моему, кино придумали, чтобы люди чаще трахались... кинематограф — пренесносное дело...

На серьезное лицо снова выкатилась улыбка, но на этот раз гораздо более сдержанная:

— Там старец один жил — утром выходишь нужду справить, потягиваешься на крыльце, а перед забором целые экскурсии стоят, смотрят на тебя, как на чертика из табакерки... Гид что-то рассказывает, они кивают, а сами косятся на твою застывшую физиономию. Ты понимаешь, что на подвижника явно не тянешь, но все равно стараешься марку держать. И, блин, ждешь, когда они уйдут, там удобства во дворе были, не будешь же при них журчать в кабинке... Они о Царствии Небесном там говорят, а я журчать начну — негоже... Вот и корчишь одухотворенное лицо, стоишь ждешь, когда уйдут, делаешь вид, что с умершими разговариваешь...

Арсений покачал головой:

— Слушай, ну ты и смрад...

Сарафанов нахмурился:

— Да ладно, осадил, с кем не бывает... крышу сорвало, я потом раскаялся и батюшке исповедался...

Орловский удивленно наклонился к столу:

— Даже так?

Сарафанов почесал подбородок и сложил перед собой руки, как школьник за партой:

— Ой, да забудь ты про исповедь. Нашел, на что внимание обращать... что сейчас об этом? Держи гусей, Арсюша, и не теряй маму...

### *Явление IV*

Марк сейчас с трудом бы мог вспомнить, как давно он угодил официантом сюда — в этот паршивый фешенебельный ресторан в одной из высоток «Москва-Сити». Два больших аквариума на всю стену: в одном среди пузырьков и декоративных водорослей мельтешат разноцветные рыбы, в другом — царапает гладкую гальку

клевнями камчатский краб. Подсветка окрашивает воду в теплые полутона. Среди деревянных столиков суетятся осанистые официанты. Юркие лакеи выносят из кухни тарелки, ловко уложенные на одной руке — тщательно оформленные закуски, пряные деликатесы и салаты, похожие на икебаны.

Гостей пришло немного, больше всего работы досталось двум «старичкам» — Белицкому и Зырянову, обслуживающим банкет. Остальные с завистью косились на уставленный тарелками и бутылками стол — с растущим средним чеком увеличивался и лакейский гонорар — чаевые. В зону Марка Громова сел только один гость и все никак не мог решить, что будет заказывать. Марк без дела стоял рядом с барной стойкой — оперся спиной на мраморную колонну, перемывал в голове косточки этим самым «старичкам».

Из всего персонала он всегда выделял Белицкого и Зырянова, ему по-своему нравилась (если это слово здесь употребимо) в них какая-то особая холуйская целостность и законченность. Оба лакея отличались свойственной им одним вальяжной дебелостью и сытостью, однако при этом они умудрялись быть расторопнее самых угодливых молодых официантиков. С состоятельными гостями «старички» держались со сдержанным обожанием и подчеркнутой корректностью, с теми же «нищобродами» или «христарадниками», как их иногда шуточно здесь именовали, которые приходили в слишком дорогое для них заведение, принимаясь дико экономить, Зырянов и Белицкий особенно не церемонились. Однако унижая гостей второй категории, они делали это крайне утонченно и благопристойно, поэтому гостю, собственно, не к чему было придрачаться, и зачастую он даже и не понимал, что его бьют по шам и штопают лакейским каблуком так беспощадно, что хоть святых выноси. В способности старичков-лакеев выделять своими языками сложные риторические пируэты было что-то адвокатски-иезуитское. Имелись, между прочим, и исключения. Один из завсегдатаев ресторана Николай Степанович, которого официанты прозвали «Миколка-сто рублей» — душа компании и, что называется, *любитель женского полу*, будучи достаточно весомой фигурой в торгово-развлекательном бизнесе, часто приходил в заведение с очередной своей содержанкой, которую он, вследствие давно уже изнемогшей мужской силы, редко когда пользовал по прямому назначению, а только «надевал на себя» *для форсу* и чисто платонически осязал, то есть немощно шупал. Этот самый Миколка мог совершенно без счета прокутить здесь очень даже пышные суммы, но всегда, будто по стойкому нравственному убеждению, неотречимо и твердо, оставлял на чай только сто рублей — стабильных и непоколебимых, как японская йена, сто вишнево-пепельных рублей. Белицкий и Зырянов, при всем желании унижить и вежливо отрихтовать лысеющего щеголя и импотентного волокиту Миколку, все-таки ограничивались в отношении него лишь презрительно-предупредительными взглядами и жиденькой улыбочкой, опасаясь заходить дальше, так как за нечаянную обиду таких выгодных постояльцев управляющий рестораном мог оторвать и голову, и другое что прочее, поэтому умудренные лакейскими летами «старички» лишь отделялись от нежелательного гостя, сплавляя его на «халдеев-новобранцев». Остальных же экономщиков они жарили честь по чести, *виртуозно* (драли брезгливо, но со вкусом), щипали, как гусей, и шворили с беспощадной вежливостью, натягивали, как в наволочку, в бога душу мать, в ребра, печенку и селезенку — всегда с официозной улыбочкой, всегда на «вы», глядя чаще всего не в глаза, а в переносицу гостя.

Марк Громов так не умел, впрочем, учиться этому искусству он и не собирался, ибо брезговал как всеми официантскими штучками, так и самим местом, куда угодил в силу временных финансовых трудностей. Будучи художником, Марк очень страдал из-за того, что вынужден носить униженный фартук и эту совершенно плебейскую бабочку. Тем удивительнее было ему наблюдать за тем, как демонстрируют чувство собственного достоинства Белицкий и Зырянов — редкий монарх носил свою корону с такой торжественной грацией, с какой эти двое таскают на себе лакейскую шкуру.

Эдвард Мунк страдал от галлюцинаций и мании преследования, Врубель сошел с ума, измученный Ван Гог снес себе голову из ружья, поздние Гоголь с Толстым — навязчивые проповедники... вызывали усмешки и недоумение, Микеланджело — восторженный аскет, Кафка — целомудренный неврастеник; Пруст — гомосексуалист-астматик, живущий затворником; Бодлер — изломанный красотой сифилитик... помешательство, страхи, паранойя, петли на шею, передозировка, галлюцинации, простреленные виски, депрессии, робость, оголенные провода рефлексов-нервов-переломанных костей-противоречий — короткое замыкание — фортификация ужаса — а эти пустышки смотрят непоколебимыми фараонами, неотразимыми и гармоничными, как розы, симметричные, как Тадж-Махал: нарисованные на картинке полубоги, отказавшиеся от своего пантеона ради подноса и чаевых... такое ощущение, что лакейство для них лишь разнообразие досуга, как лупанарий для Мессалины, а вне ресторана они по меньшей мере правят империями, почесывают глобус вместо ялиц и переставляют материки...

Скучающим взглядом Марк смотрел в ресторанный зал, косился в натертую прозрачность стеклянных стен: за ними дефилировали нарядные покупатели торгового центра, в котором находилось заведение.

В каждом ресторане есть хотя бы один официант — оправдание его профессии — пятьдесят содомских праведников — треклятая совесть, нанятая на почасовую оплату девочка с гонореей и целомудренными косичками: цветные резиночки, клетчатый фартук, очки отличницы и тщательно уложенные канатики волос, по мановению мизинца раздвинутые ноги замызанной розовой щели — хрю-хрю... жух-жух, пузырящийся клич сливного бочка, органный, трубный клич сантехники — брюшная увертюра... этот один, реже несколько человек почти не крадут, доедают в посудомойке только самые изысканные обеды гостей, доносят на коллег лишь в самых исключительных случаях, не частят шушукаться со сладострастно-ядовитым брюзжанием слюны, а когда берутся за это, то без удовольствия... то есть почти насильственно, с трудом одолевая свои безукоризненные, сложнейшие нравственные категории, рожденные сердечной бицепсой, похожей на инкубаторную селезенку... короче говоря, настоящие исихасты... прожженные назореи шестого разряда — к мертвечинке не прикасашеся, волос не остряжеши, девчин не шупавши и не лобызавши, с мужчинами не возлежаша, и да не преткнеша о камень ноги свои, и не убоишися от сряща и беса полуденнаго... черных поясов и десятых данов пустынники, генеральские чины-эполеты на покатых плечах и в высоких челах, обузданные чресла, одухотворенные мошонки... «жи-ши» пиши с буквой «и»... Мать честная, святые угодники, Аполлона Бельведерского за мочку уха, да они просто няшки — могут иногда даже не лгать в глаза... в глаза-в глаза мне смотри, сукин сын... в глаза, отродье! говори, когда, где и кем был завербован?! Враль с вдохновением, враль со вкусом, не трогая барабанные перепонки и щитовидную железу. Одним словом, чистокровная добродетель. Хвост пистолетом, гуттаперчевые ценности... Матерые шраманы, бодхисаттва с кастетом за пазухой, так, на всякий случай, все-таки электрички, все-таки Подмосковьё, мало ли кому нос сломать или там даже пиво хотя бы открыть, не зажигалкой же, в конце-то концов ради всего святого оставьте меня в покое... на Ленинградском шоссе минет в резинке за тысячу рублей, секс — полторы, за «вертолет» с двух сторон доплата тысяча — Вселенная расщепляется, Господь создал мир за шесть дней, а на седьмой почил, вначале было Слово, розовые пупочки, манна небесная, дважды два четыре, вилка — слева, нож — справа, десертную поварешку — в задницу... вчера у подъезда кормил голубей-каннибалов — бросал им кусочки вареного яйца, и вот хоть бы один возмущился, сукин сын, хоть бы один, стервец, поперхнулся, нет же нет же нет, ворковали и жрали за милую душу, вопреки всей генетике... жил-был в одной стране один очень сомнительный прожиточный минимум, как-то раз он вдруг повстречал еще более сомнительный МРОТ — во время встречи МРОТ держал себя как-то свысока, я бы даже сказал, крайне не интеллигентно он себя держал, мало того, что от него несло сивухой, так он элементарно отказался просто подать руку, но прожиточный минимум был не горд, что и говорить, скромный парняга из рабочей

провинции, поэтому он не злился на хамство МРОТа, можно даже сказать, что тайно симпатизировал ему или, чего пуще, даже испытывал к нему определенное сердечное чувство, несмотря на все бывшие обиды и прошлые перипетии, однако, как говаривал бывший министр просвещения и пропаганды Германии доктор Геббельс, «любовь в любящем, а не в любимом»... поэтому МРОТ только фыркнул, махнул еще одну рюмашку, наступил прожиточному минимуму на поджелудочную железу и был таков... профессия халдея это вам не шуточки, господин полковник... здесь дело сурьезное, досточтимый барон фон Клоп... да, что ни говори, глядя на это холеное самоуважение Белицкого с Зыряновым, можно прямо-таки задохнуться от вдохновения... Ну, а слово лукавое да простится, ибо совсем без лжи в общепите даже как бы и неприлично, товарищ майор, то есть давно бы и разогнали уже весь российский общепит без эрегированных рапсодий — ложью ресторан рожден, вскормлен, на нем, собственно, ныне, присно и во веки веков стоит, аминь... Ложь — это признак профессионального комильфо. Российская Федерация — есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ... ТРУД — дело чести, доблести и ГЕРОЙСТВА — КАЖДОМУ СВОЕ, да в конце-то концов, один раз живем, господин подпоручик!!! ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, товарищи, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ! Доведение лица до самоубийства наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти... Аже выбьют зубь, а кровь видять у него во рту, а людье вылезуть, то 12 гривень продаже, а за зубь гривна... Студентики выпадают из общей картины, ибо залетные персоны и надолго не задержатся. С ними в атмосферу ресторана нет-нет и пробьется что-то живородное... гортанный смех, легкая походка, ясный взгляд, сухое уютное рукопожатие... и иже с ними. На днях объявляют список финалистов конкурса при Академии художеств, царица Иштар, совокупи и помассируй... даже если не выиграю, все равно через месяц-край два, уволюсь нахрен, иначе кончусь, хватит с меня этого папье-маше!

Гость наконец определился с заказом и пальцем подозвал Марка.

Да за одно то, что я вынужден реагировать на эти пальцевые подзовушки, мне пожизненную ренту надо, бесплатное молоко и психоаналитика.

Громов шагнул к гостю, с трудом скрывая раздражение.

Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская вдова! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье!

— Здравствуйте, что будете заказывать? — достав блокнот из переднего кармана фартука, Марк приготовился записывать.

— Мне, пожалуйста, апельсиновый фреш с ромом и стейк рибай.

— Какая прожарка?

Гость прищурил глаз, как будто что-то мысленно взвесил.

— Medium... Кстати, скажите, а у вас вообще все мясо привозят из Новой Зеландии или только что-то конкретное?

Марк смотрел в сытые уверенные глаза гостя, карие и невозмутимые, как Марианская впадина, — глаза ждали ответа — эти глаза всегда привыкли получать ответы.

Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижу; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе... Как приличный официант из приличного заведения, я должен сказать, что все мясо из Новой Зеландии — так написано в меню, — но вся беда в том, что я не приличный официант из приличного заведения, то есть я вообще не официант, не профессионал и даже не пошлое комильфо с притягом за мочку уха, а значит, как плохой официант и в соответствии с этим — честный человек, не могу не открыть

этому гостю страшную тайну происхождения наших млекопитающих... Ну какая, какая, царица Иштар, Новая Зеландия, милый ты мой гость, если это самые что ни на есть наши постсоветские буренки с патриотично-меланхоличными очами? И главное, скажи мне, скажи, почтеннейший ты мой гость, вот чего ради стыдиться их говяжьего гражданства? Ну напиши ты как есть! Но нет же нет же нет, слишком не доверяет русский холоп производству своих собратьев... Ну какая еще Новая Зеландия, если начальство не может раскошелиться даже на корм для камчатского краба, заточенного компрачикосами в гигантском аквариуме на потеху чавкающим гурманам?

Гость терпеливо ждал ответа от задумавшегося официанта, а Марк перевел глаза на пухлолицего менеджера, который что-то записывал в свой анафемский блокнот.

Милейший ты мой гость, да что такое краб? Кто будет заботиться о питании краба, если сами сотрудники ресторана, являющиеся по большей части представителями человеческого рода, питаются отбросами, приготовленными руками специально обученной затрапезной бабы — поварихи Зои, практикующейся на разбавлении еды водой, воздухом и силой мысли, так что даже почтенная гречневая и драгоценная рисовая каши ее производства могли бы привести в ужас любую детдомовскую столовку или харчевню какого-нибудь муниципально-решетчатого казенного заведеньца?

Наши дети не должны болеть **ПОНОСАМИ!** Утром зарядка — **ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ!** Вступайте в ряды продиспансеризовавшихся!

Хотя нет, один раз, помнится, каша была вкусной... Да, совсем как вчера, помню... До сих пор еще не улеглись разговоры о том, как однажды донельзя обыденным, ничем не примечательным утром на завтрак вдруг подали вкусную манку. Потрясенные сотрудники вкушали и пищеварили, смущенно переглядываясь и как-то нервно озираясь по сторонам... ожидали после завтрака непременно подлости-расплаты за вкусную трапезу, будь то отравление, расчленение, увольнение или хотя бы всеобщие штрафные санкции, но как назло ничего не произошло, никого не убили, не похитили и даже не изнасиловали, так что день минул так же, как и все другие прочие поперечные... После произошедшего пищевого эксцесса по углам по щелям по амбарам по сусекам расплзался обескураженный шепоток — среди потрясенных лакеев закрепились две версии. Одни поговаривали, что тучная персональская повариха наконец-таки испытала оргазм, но из этого логично вытекал другой вопрос: «какому конченному человеку сей акт был под силу, а главное, что именно должно произойти в жизни пусть даже самого задрипанного мужичонки, чтобы он решился на подобный пассаж?» — было совершенно очевидно, что данная теория не что иное, как наглая безосновательная сплетня — гнуснейшая из гнуснейших, архискверная и во всех отношениях клеветническая теория, поскольку никто и никогда не мог совкупить затрапезную бабу Зюечку даже под угрозой расправы или Страшного Суда, однако до сих пор находятся те, кто в курилке поддерживает именно эту теорию; другие утверждали, что все гораздо прозаичнее, скажем так, более механически, то есть более приближено к всемирному закону тяготения — так как скорее всего здесь нагрешил господин Ньютон, и слабосильная рука разомлевшей от пищеварения женищины дрогнула в самый неподходящий момент, вследствие чего из стакана с манкой высыпалось слишком много крупы... В любом случае, с тех самых пор сотрудники знали: на самом деле затрапезная Зюечка умеет готовить, просто она специально обучена не использовать свои способности, чтобы не распылять по пустякам кулинарный дар и экономить продукты... Но не думайте, не думайте, милейший вы мой гость, будто я пытаюсь клеветать на добрую нежную чуткую повариху нашу Зою, ибо собственными глазами видел, что не чуждо не чуждо женищине сей и милосердие и человеколюбие и другое что прочее щепетильное трепетное, там, разное сантиментальное в общем мирозерцании и других естественных отправлениях и нуждах — несколько недель назад возле склада Зюечка подкармливала таракана, глядя на него грустными глазами с внимательным умилением. Повариха бросала ему колбасные катышки и пыталась погладить блестящую спинку пухлыми мукомольными пальчиками, но оранжевый толстяк проявил редкостное равнодушие, убежав как ни в чем не бывало —

*клянусь вам, милый гость, он убежал и был таков, шельмец... но все равно все равно от картины сей исходило что-то нравственно возвышенное, почти богоприсутственное, да-да, я не шучу.*

**НЕ БЕЙ РЕБЁНКА — ЭТО ЗАДЕРЖИВАЕТ ЕГО РАЗВИТИЕ И ПОРТИТ ХАРАКТЕР.**

*Уничтожим кулака как класс.*

Марк убрал блокнот в фартук.

— Вы знаете, я не в праве этого говорить, но на самом деле наше мясо из Воронежской области...

Как?! Что?! Почему?! Возмутительно! Коня, коня, полцарства за коня!

Пока фыркающий гость собирал со стола свои манатки, чтобы уйти, Марк отвернулся в сторону аквариума, откуда как-то злопамятно глядел голодный краб. Когда мимо ярко подсвеченного аквариума, заполненного бутафорскими подводными красотами, пробежали официанты с подносами, краб, казалось, провожал их злобным взглядом, стараясь запомнить лица всех этих людей, чтобы сегодня же ночью жестоко отомстить за свое унижение и голод, на который его обрекли.

Гость ушел, и Марк Громов принялся сервировать стол — тупой труд, достойный дрессированной обезьяны: с началом смены натирать вафельным полотенцем бокалы и сворачивать текстильные салфетки в зоне своих столиков, потом в течение всего дня во время бизнес-ланчей убирать эту растреклятую полную сервировку, которая понадобится только вечером. Вот гость располагается за столом — унеси, вот он уходит — поставь на место. А пока обслуживаешь гостей, эти сукины дети — хитрожопые коллеги-лакеи — постоянно норовят стянуть твои закрученные салфетки и натертые бокалы, временно отложенные в стейшен, чтобы выставить их на свои столики.

Менеджер подозрительно сфокусировал на Марке свои микроскопы:

— Что там такое было? Почему гость ушел? — за каждым его словом слышались звон монет и шелест свежотпечатанных купюр.

Громов бегло глянул на подлый синенький галстук менеджера.

Шик-шик-шик. Трень. Раз, два, три, четыре, пять и много-много нолей. Вжик-вжик.

Художник равнодушно поднял глаза на физиономию менеджера — смерил вопросительным взглядом амбициозное ничтожество, видящее смыслом своей жизни, вершиной духа и материи должность управляющего, а может даже собственное заведение, собственных крабов, которых можно морить голодом, и собственных лакеев, которых можно кормить водой с воздухом и манкой, а все ради одной великой цели — смакование, дефекация и чавканье цивилизации, а вместе с тем, вместе с тем много-много нолей личного дохода и изобилие бархатного пространства.

*Вжик-вжик, мой милый калькулятор. Вжик-вжик, моя прелесть!*

**НЕ ПОЗОРЬ свиное звание! Свердловский СОВНАРХОЗ.**

— Я сказал ему, что наше мясо не из Новой Зеландии...

Менеджер посмотрел на Марка с ужасом и отвращением, сделал пометку в анафемском блокноте и достал из своей папочки, лежащей на баре, штрафной бланк, куда вписал напротив фамилии Марка «500 рублей за разглашение коммерческой тайны».

*Теперь буду знать, как юридическим языком называется простая человеческая ложь — «неразглашение коммерческой тайны». Голову даю на отсечение: когда Понтий Пилат умывал руки, он то же что-нибудь в этой манере себе нарефлексовал.*

Говорящая голова менеджера с подленьким синим богомерзким галстуком отвлекла художника от размышлений:

— Ты понимаешь, что семимильными шагами идешь к увольнению?

Марк не удержался и широко улыбнулся, вызвав недоумение менеджера.

— Тебе это кажется смешным? — волосатые ноздри менеджера взволнованно засопели.

*О, славный царь Аид, о святейшие воды Тиамат, дайте же ему крепкого здоровья и всяческого благополучия... Милый ты мой, калькулятор, ну что мне твое холонское увольнение, скажи-ка на милость, кликуша ты моя яхонтовая?*

**СТАНЬ УДАРНИКОМ коммунистического труда!**

Марк зевнул.

— Если начальство решит меня уволить, я преспокойно уйду отсюда с чистой совестью и ласково помашу вам всем платочком.

*...Отряхнув прах от ног своих — надо было добавить: ну да ладно, не нужно усугублять и без того прескверно складывающуюся карьеру полового. Сказал только то, что сказал, без библейских цитат и патетики. На том и будет с этого люмпена.*

Менеджер разбух, напряженные жилки, потовыделение, расширенные сосудики, молоточек пульса. Тук-тук. Как бодрая красная головка дятла на древесной шкуре. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Попытка менеджера подобрать необходимые слова в прорехах своего внутреннего словаря, глазки тужатся, нахмуренные бровки. Ягодицы Миши чуть подрагивают. Менеджер пытается включить большого начальника.

*Лидерская жилка, дисциплина, харизма. Умение себя подать, как же там? Как же? Богатый и бедный. Заповеди успеха. Сдержанность — умение прогнуться и боднуть, чмокнуть или чпокнуть, лизнуть, перешагнуть через макушку. Погрозить пальчишкой, свернуться калачишкой. Мимикрия. Потребительская мечта. Цыганская расщелина. Хлюп-хлюп-хлюп. Шмак-шмак-шмак. И труляля. Шаг вперед за звездой кочевой... нананэ-нананэ-нананэ.*

— Позевай мне еще... — менеджер выдавил из себя первое попавшееся, не нашедши ничего более весомого.

Бармены натирали бокалы, пшикали на стойку красного дерева из баллончиков с лаком и мусолили ее солидную гладь тряпками. Разноцветные этикетки бросались в глаза, плотно составленные пузатые и тонкие бутылки переливались на свету черно-зеленым и белым.

*Глядя в эти свинячьи менеджерские глазки, прямо-таки нервно осязаю, что у нашего Миши врожденный дар и его катастрофическая нереализованность... двадцать первый век определенно не для такого деятельного создания. О, Ахура Мазда, скажи, поведай мне горемычному, сколько же среди наших нежнорукых мальчиков с мягкими подбородками и красивыми галстучками несостоявшихся деятелей-надзирателей какого-нибудь Бутугычага или Аушвица?.. В Москве профессиональный киллер стоит около трехсот тысяч, отморозок возьмется убрать и за тридцатку — надо принять к сведению этот нюанс, киллер — вещь нужная, это не какой-нибудь там диплом о высшем профессиональном образовании, авось и пригодится...*

В будущем калькуляторный Миша добьется своего: будет жить долго и счастливо, не тужить, мед-пиво пить — через несколько лет он станет управляющим другого ресторана, правда менее уважаемого, а в две тысячи двадцать пятом году откроет собственное заведение, женится на дородной официантке, у них родятся двое кенгурят, один поскачет отцовской тропой, другой — пяти лет от роду — в деревне схватится руками за бензопилу и останется инвалидом на всю жизнь. Марк поставил свою подпись на бланке и поторопился отойти в сторону, чтобы не опуститься до изощренного членовредительства. Презрительно-фамильярное «позевай мне еще» он пропустил мимо ушей.

*Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье сто пятнадцатой, наказываются лишением свободы на срок до двух лет...*

Громову нельзя было терять работу, по крайней мере в ближайший месяц — накоплено слишком мало денег, чтобы можно было спокойно засесть за давно



задуманную дилогию «Распад» и «Восхождение». Он прошел вдоль длинного аквариума, занимавшего половину стены ресторана. Бросил беглый взгляд на камчатского братца по неволе и несчастью. Тучные рыбы, которых в отличие от краба все-таки кормили, так как они носили статус постоянных деталей интерьера, виляли хвостами и чесали свои кольчужные брюшки о бутафорские кораллы и обомшелые замки.

*Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.*

Тут Марк увидел двух молодых мужчин, вошедших в ресторан. Громов где-то видел одного из них на каком-то спектакле. Когда подавал меню, спросил:

— Вы случайно не актер? Мне ваше лицо кажется очень знакомым...

— Случайно актер...

Громову стало неловко за идиотскость и неуместность этого разговора. Он смущенно улыбнулся, представился и принял заказ. Часто ловил себя на том, что несет невразумительную ахинею, тем более претенциозную, чем больше ему нравился человек, с которым хотелось завязать разговор. Громову редко удавалось быть самим собой с людьми, вызывавшими в нем сильные эмоции — должно быть, сказывалась привычка к замкнутости, доходившей периодами до интровертного вывиха. Он попросту соскучился по «своим» людям, поэтому часто вел себя с ними слишком навязчиво.

Сонный Марк стоял на балконе своей высотки и смотрел на вечерний город. Из комнаты доносился «Evil Nigger» Джулиуса Истмана — натянутые нервы, а не музыка. Проспал весь день, только проснулся и еще приходил в себя. Теперь лохматый, укутанный в зеленый махровый халат зевал и тер глаза. На красных щеках отпечатались складки подушки. С трудом дождался трех выходных. Открыл глаза и потянулся в предвкушении запаха краски и растворителя, почти осязал сейчас затылком присутствие кистей, так долго лежавших в ящике без дела. Марк думал об уже давно загрунтованных холстах, о заготовленных подмалевках. Зевнул до слез. Голова гудела от слишком долгого сна. Облокотился на поручень балкона и свесил голову вниз. Пробежался глазами по линии горизонта: птицы мелькают, как кляксы, под купоросным тесным небом, над мерзлыми крышами, присыпанными грязным снегом, похожим на хлорку.

В мыслях заерзали строчки: *«Город скорбный мой! Город почти бездыханный... Лазарь, пахнувший тленьем... как ползут синеватые черви по венам...».*

Стало холодно. Марк вошел в комнату, плотно закрыв балконную дверь. Форточку тоже захлопнул — пора готовить квартиру к работе. На восстановление сил понадобились целые сутки. От трех выходных откушен солидный кусок. Громов принял ледяной душ, сварил крепкий кофе, который не мог пить без молока, однако сейчас глотал дерущую горечь, чтобы разогнаться, воспрянуть. Турка снова и снова оказывалась на плите: чиркнувшая спичка щекотала медное вытертое пузо, пока ее не подхватывал газовый цветок огня; несколько минут — и деревянная ручка начинала подрагивать, через край рвались кофейные пузыри, сплевывали гушу на шипящее пламя. Заляпанная плита походила на дно высохшей лужи. Марк глотал кофе до тех пор, пока сердце не закололо. Просмотрел «Число П» Аронофски. После фильма плейер заиграл «Кокаинетку» в исполнении Кабановой.

Открытая книга: пористая гладкость страниц — нырнул и вынырнул. Бумаге свойственна чувственность. Марк сидел на раскладном стуле и листал любимые книги, они ласкали ладонь шершавым переплетом — сухие белые страницы с гляncем блестели, а пахучие листы старой матовой желти, не говоря уже о горчично-рыхлых, полуразвалившихся, похожих на оксиринхские папирусы, уютно шелестели и раскачивали воздух комнаты своими пористыми, избитыми типографскими литерами языками. Марк сидел между двумя репродукциями: слева на стене висел Меленский

диптих Жана Фуке (про себя Марк называл эту демоническую, пугающую, какую-то немадонную Мадонну «бесноватой сукой»); на противоположной стене висел триптих Хуго ван дер Гуса «Алтарь Портинари». Если первая цепляла своей сатанинской фактурой и распутной пластикой, каким-то хриплым дыханием сквозь скрежет зубов, то вторая — воплощенное безмолвие, бесстрастность и свет. Обе эти вещи, как абсолют противостояния, как болезненный стык плоти и духа, каждый день прошивали художника перекрестным огнем.

Громов перечитал выделенные карандашом абзацы, после чего принялся за издания своих любимых художников, впитывая зрачком глянцевою насыщенность красок, макал в них взгляд. Эгон Шиле и Альфонс Муха, Николай Фешин, Михаил Нестеров... Краски начинали пульсировать и оживать: их облизало пламя — сначала заколыхались глянцевые цвета в просторных книгах, затем и комнаты, художник постепенно нащупывал в себе это обострение, почти осязал ландшафт цветов, вязкость и сочность окружающих оттенков, фокусировался на все более контрастной игре света и тени. Сиреневое небо за окном набухло, засочилось ежевичным сиропом, разлилось пурпурными разводами, от белого подоконника пахнуло молоком, а лежащий на столе апельсин начал казаться теплым и нежным, как детская коленка.

Марк выключил музыку и подошел к чистому загрунтованному холсту, установленному на мольберте в углу комнаты, содрал с него пыльный полиэтилен и отбросил в сторону. Полиэтилен отливал сурьмой, Громову на секунду показалось, что шуршащая пленка — это металлическая пластинка, скомканная чьей-то рукой и брошенная на пол. Болезненность восприятия цвета нарастала. Взял мастихин и кисть.

Белесая грунтовка ждала первого прикосновения кисти — сосредоточенная и внимательная, как хороший священник перед исповедью, она готовилась принять в свое монохромное пространство стремительность цвета, ждала, словно женщина, предчувствующая мужское семя с жадной счастливой подчинения.

Марк смотрел в раскрытый дверной проем холста и думал о том, куда он сейчас выйдет, если все-таки решится на несколько размашистых шагов и толкнет эту невидимую дверь кончиком кисти — острым, похожим на скальпель. Достал из коробки несколько тюбиков с краской: церулеум, кобальт синий, берлинская лазурь, ультрамарин, милори — пять ступеней синего; виридоновая зеленая, волконскоит, изумрудная, окись хрома — пять ступеней зеленого; марс желтый и красный, темная охра, сиена, виноградная черная, сажа газовая, красный кадмий, краплак, умбра, два тюбика белил — цинковые и титановые; Марк долго прислушивался к тюбикам, как будто ждал от них ответа, потом выдавил на верхнюю часть деревянной палитры, покрытой олифой, красный кадмий, охру и титановые белила, а на нижнюю — немного умбры, милори и виноградной черной. Взял растворитель, отвинтил колпачок, наполнил маленькую баночку: резкий запах обдал комнату — окрашенная жирным маслом кисть погружается в прозрачную жидкость, краска начинает разжижаться, отдавая себя жадному волосу кисти.

*Кармин, он же вермильон — давленные черви, кровь мексиканской кошенили... червей убивают уксусом, после чего добавляют в качестве основы для красной краски... бычья кровь в гематогене, кровь червей в краске — зачем детям и художникам нужна кровь? В древности считалось, что она — пища богов, источник силы, позднее — еще задолго до рождения Христа — основа греховности... красный — изумительный цвет... завораживает, как пучина: цвет войны, страданий, революций... огненных жерл и бойниц; цвет плаща инквизиции... высунутого змеиного языка... красный — цвет вырванного сердца, цвет дьявола.*

На передний план картины, в самом низу холста укладывал пастозные мазки — мастихин создавал фактурность щедрыми, широкими мазками; в центре картины

Марк писал разбавленными красками, видел в этом месте речную гладь; в верхней части холста ложились тонкие слои лессировки — тщательные, подогнанные один к другому. Долгожданный запах краски и скребущий звук мастихина, похожий на шепот, вызвали у Марка сильную дрожь. Смесь охры с небольшим количеством темной умбры; основа верхней части холста — милори с небольшим количеством виноградной черной. Если цвет не получался, Громов, беспощадно кусавший во время работы нижнюю губу, пытался нащупать нужный оттенок, а неудачные мазки, пока они не схватились, снимал мастихином и наносил снова, затушевывая и затирая неровности. Время от времени оттирал кисти тряпками, чтобы обновить цвет.

Чувствовал, что не может слиться с картиной, полностью погрузившись в нее. Снова и снова будто упирался во что-то и не мог двигаться дальше, постоянно отвлекался на телефонные звонки и сообщения «В контакте», пока не достал из телефона аккумулятор и не отбросил в сторону, после чего скинул с себя халат и трусы, намазал лицо ультрамарином. Начал растирать краску пальцами:

*Она на мне или я в ней?*

Снова взялся за кисть.

Несмотря на то что форточка была закрыта, поначалу Марк стал замерзать без одежды, но постепенно то ли перестал это замечать, то ли действительно стало жарко, с подмышек стекали тонкие струйки окрашенного ультрамарином пота. Лицо сковала засохшая краска, оно стало тяжелым.

Пришло сильное чувство голода, но Громов подавил его — перетерпел несколько часов, а дальше оно просто рассеялось.

*Нужно добавить золотой, немного виридоновой... и кобальт фиолетовый.*

Постепенно на холсте вырисовывались очертания рассвета на берегу кроваво-красной реки. Мазки становились все более размашистыми, истеричными...

Марк не знал, сколько он работал, — несколько раз возникал соблазн посмотреть на часы, которые висели над кухонным столом, но он пересиливал себя и продолжал писать. Когда ноги ослабели, сел на стул, опустил холст ниже — было неудобно, но художник больше не мог стоять на ногах. Босые ступни затекли, глаза слипались. Поймал себя на том, что пальцы рук слишком нетвердо держат кисть, а сознание время от времени выключается. Проковылял на кухню, вылакал литр клюквенного морса, съел половину нарезного батона и завалился в постель, даже не приняв душ. За окном было светло.

Проснулся, посмотрел на залитое ночным небом окно, покосился на измазанную синим маслом подушку. Кожу на лице болезненно стянуло, щеки и лоб горели — видимо, началось раздражение; в голове промелькнула мысль, что сегодня утром, наверное, уже пора выходить на работу. Громов презрительно глянул на телефон с отсоединенным аккумулятором, потянулся до хруста, нащупал босыми ногами тапочки и подошел к холсту... Единственное, что ему по-настоящему грозило, — это оказаться на улице из-за неуплаты за съемное жилье, но он решил в крайнем случае договориться со своей бывшей кафедрой, чтобы ему разрешили поселиться в общежитии при академии, но все это потом, после, не сейчас... Вновь запах краски и растворителя. Скрежет мастихина и ласкающие движения кисти.

Уволившись из ресторана четыре недели назад, рассчитал — накопленных ста тысяч хватит на три месяца: семьдесят пять придется отдать за аренду квартиры, остальное уйдет на питание и разные бытовые мелочи.

Бьет по холсту уверенной, как игла швейной машинки, кистью... Глаза совершенно слиплись. Во рту пересохло. С трудом заставил себя помыть кисть, осушил графин

с водой и открыл холодильник. Стеклопанные полки были завалены педантично сложенными стопочками грязной посуды — сначала она хранилась только на верхней полке, а еда — на нижней, но со временем аккуратно вложенные одна в другую тарелки заполнили все пространство холодильника, а художник перешел на консервы. Громов все никак не мог избавиться от привычки открывать дверцу холодильника, хотя прекрасно знал, что ничего съестного там нет уже дней восемь.

Снова вернулся к холсту. Мысленно подбирает нужные цвета. Виски сдавило. В глазах — песок.

*В таком состоянии только испорчу.*

Заполз на кровать, не снимая заляпанной краской одежды.

*Зубы забыл почи...*

Дернулся было встать, но без сил повалился назад и вжался в подушку.

Проснулся после полудня, проковылял к ванной. Перешагнул через разбросанную на полу одежду и грязные кастрюли, не поместившиеся в холодильник. Умыл сонное лицо. Вернулся к работе, почесывая взлохмаченную голову. Некоторое время смотрел, будто принимался, потом взял молоток и хладнокровно ударил по холсту, пробив в нем дыру. Мольберт упал плашмя. Громов откинул разорванную работу в угол комнаты, достал из шкафа новый загрунтованный холст, поднял мольберт...

В ушах зазвенело. Во рту горчило, потолок проседал — стал гибким и пружинистым, стены начали пульсировать. Громов невольно следил за пульсацией окружившего его бетона:

*тк-тк-тк-бф-бф-бф-семь-восемь-девять*

Потом стал нарастать шум дыхания — гулкий, как в акваланге. Марк слышал свои громкие вдохи и выдохи, постепенно они отдалились, перетекли вовне — сделались чужими.

*Это не я дышу — надо мною дышит. Вокруг меня дышит. Мною.*

Спотыкающийся Марк доковылял до кровати и повалился в грязное, пропотелое белье, измазанное краской. Через несколько часов проснулся от звука скребущего по холсту мастихина. Открыл глаза и посмотрел в ту сторону, откуда доносился скрежет: увидел у мольберта самого себя — с воспаленным лицом и взлохмаченными волосами — двойник истерично чиркал по картине, как будто пытался выбить из холста искры и разжечь огонь.

Громов поднялся с постели и встал рядом с ним. Он начал помогать. Чувствовал идущий от двойника запах своего пота. Почему-то страшнее всего было стоять сзади и смотреть в свой затылок, поэтому Марк старался быть просто сбоку. Четыре руки переплетались, время от времени сливаясь в одно. Иногда Марк поднимал глаза на свое лицо, смотрел на взмокший лоб, на волосатые ноздри и щетинистые скулы...

Потолок стал еще более упругим и гибким — он провалился, что очень раздражало Марка, который понимал, что это будет мешать работе. Стены тоже вели себя странно — дрожали от шелковой ряби. Волны колебали углы и плинтусы. Обои приподнимались и хлопали, шелестели жабрами, а окно все больше растекалось в стороны, становилось круглым. В конце концов оно отслоилось от стены и свалилось на пол. Громов только поморщился — ему было на это наплевать.

Двойник тоже остался равнодушным к новому положению окна и продолжал писать, Марк даже зауважал своего спутника, который поначалу показался ему банальной выскочкой. Захотелось даже хлопнуть его по плечу, но стоило Громову в очередной раз увидеть собственный затылок — сделалось дурно.

Сквозь стену, откуда-то сверху и сбоку, на него смотрела актриса-соседка, стоявшая на своем балконе. Марка сначала встревожило, что он видит девушку, хотя

повернут к ней спиной, да и находится не снаружи, а в квартире, но потом успокоился, вспомнив, что окно теперь лежит на полу.

*Несколько широких мазков. Податливая пустота белого прямоугольника. Желчь. Влажная земля. Темные горькие полутона. Черное жирное пятно в нижней части, похожее на жизнь. Промелькнула безобразная личина... Туманные топи. Болото. В правом углу молочно-перламутровое сияние — нет, пафосно, слишком прямолинейно... Костлявая лапа тянется, пытаюсь... Жаждающая света тварь — сухая твердь — плоть — глина — детство не в прошлом, оно впереди — там после смерти — пламя — слово. В пустых глазницах теплится свет. Вопросы-ответы. Капля воды. Закрытая дверь. Поцеловала в щечку — в первый раз... Сама подошла, сказала, хочет шепнуть на ушко. Мне было лет пять, наверное... белолицая с голубыми... Открытая дверь. В шестнадцать первая любовь. Объятие — сильнее поцелуя. Проникновеннее. Глубже. Оно навсегда... Широко раскрытые, пристальные глаза. Зеленые — умопомрачение... Чернявая, смуглая... Когда идет, голова всегда набок. Ноги очень длинные и стройные, но в коленях чуть сводятся друг к другу, как у кузнечика — никогда не видел ничего более прекрасного. И голос, чуть глуховатый... мокрый снег по лицу. Откуда в квартире снег? Почему снег? Почему снова окно, оно же умерло? Как странно. Сейчас июль, у меня летние каникулы. Я учусь в седьмом классе. К сентябрю нужны доклад и письменное задание по биологии, но у меня совсем нет виридоновой краски. Нужно вынести мусор, тем более завтра сессия. Я ничего не нарисовал на тему античной литературы, никогда не любил... Гораздо больше античности любил вишневым пирог. Мама попросила купить молока и картошки, а диплом совсем не готов. Даже растушевку не сделал. Вчера на футболе расшиб себе колено и подвернул ногу. Мама мазала зеленкой содранную коленку, но в школу все равно заставила идти, несмотря на минус тридцать... все нормальные дети сидели дома, пришел только я и еще несколько задротов... у меня слишком много заказов, не успеваю — я опять взял слишком много столиков и не смогу обслужить всех гостей. На похоронах всегда чувствовал, как открываются двери — становилось до ужаса просторно — там в открытом проеме страх и трепет, безмолвие или леденящие крики... Я так давно не целовал ее зеленые глаза... Неделю назад меня крестили, мне было года два, по-моему — синяя церквушка Иоанна Предтечи на Репина — я почувствовал тогда, да, было... в подвал спускались... странное прикосновение внутри, как будто вспомнил что-то важное... такое родственное, саднящее. Крест светился на солнце, почему-то потом не носил его. А краски смеются. Они говорят со мной. Зовут. А эти твари хотят... Растворить без остатка, рассеять. Чтобы бесследно, бесплотно — ультрамаринное масло в сухую землю... несколько картин — даже несколько только картин — это очень много...*

*Красный, лиловый, синий. Кобальт зеленый. Слишком темно, надо больше света. Гуще мазок. Режет глаза. Снова слышу это... Опять закулисный шепот и хрипы. То же жуткое бормотание. Сковывает руки. Мне кажется, потолок скоро порвется — слишком сильно провис. Даже трещит. И в стенах пульс бьется все громче, как будто я в чьей-то черепной коробке — долбит по ушам...*

*Под дверьми короткие лохматые пальцы... скребутся, грызут и дергают ручку. Куражатся, хохочут. На подоконнике опять эта обнаженная девица с черными глазами. Машет рукой, просит открыть. Смеется... Из розетки лезут щупальца. Зеленая, слизкая мразь — глянцеви́тая чернота хищно блестит, сползает по стене. Сжался в углу. Действительно не может дотянуться или просто дразнит? Касается уха, сваливается на плечо и снова назад, оставляя вязкий сопливый след... Проползли в щель. Заняли гостиную и кухню, давят на последнюю дверь... Алчное чавканье и семенящий топоток. Уставился в мой затылок. Чувствую его взгляд, не могу оглянуться...*

*Потолок и стены исчезли. Дом растворился. Рассеялся. Город потух. Пустота объяла. Страх и трепет.*

## Явление V

Через неделю после разговора Дивилья с дочкой позвонила бывшая жена: три часа ночи, подвыпивший режиссер спал крепко — телефон долго вибрировал. Проснулся, продрал глаза, увидел «Надя» и взял трубку.

— Миша, это ты? Мишенька, алло! Ты слышишь?!

От «Мишеньки» у режиссера похолодело в груди, обычно она звала его по фамилии, да и голос сейчас был какой-то срывающийся. Включил лампу, сел на край кровати. Наступил босой ногой на снятый носок. По черным ветвям деревьев в окне режиссер понял: глубокая ночь. Глядя на остроконечные сумрачные деревья, Михаил вспомнил один свой спектакль с похожими декорациями. Ассоциация промелькнула в сознании и улетучилась.

*Что-то случилось.*

— Да, Надя, что такое? Что стряслось?

Надя не могла сдержать слез. Судя по усталому вою, истерика у нее началась уже давно.

— Ол-я-а-а... Полечка-а-а...

— Да что с ней такое?! Говори, ну!!!

Михаил вскочил на ноги, локтем случайно сбил с тумбочки лампу со стеклянным абажуром, который тотчас же разбился.

— Погибла, Полечка погибла, слышишь, Миша? Умерла-а-а...

Надя кричала, захлебываясь от рыданий. Дивилья закрыл левой рукой лицо и сжал зубы так сильно, что загудело в ушах. Ноги подкосились, он сел на пол.

— С Димой на встречу вылетели под грузовик... Его в кашу... а Полю в больнице пытались...

Вновь захлебнулась рыданиями. Михаил не мог выдавить ни слова.

— За что, Господи?! За что, Миша?! Чем нагрешила-а-а?! Ну что ты молчишь, скотина?

— Где ты сейчас?

— В больнице...

— Почему сразу не набрала?

— Полчаса назад позвонили, я сама только приехала... Миша, они в морг ее уже отвезли, ты слышишь? Меня не пускают... Не трогай меня, сволочь! Руки убери! Пусти... мудака... Не успокоюсь, я сейчас хочу...

Плечо нервно дернулось, Михаил закрыл глаза.

— Не пропускает меня... приезжай быстрее, Миша... Господи, Миша, я рожала ведь ее здесь... я только сейчас это поняла! В этой самой больнице рожала ее, Господи...

Михаил услышал грохот, как будто телефон выпал и связь оборвалась.

Режиссер рванул к шкафу и напялил на себя первую попавшуюся одежду. Босой ногой наступил на осколок стекла, замер от боли и съежился, как от укуса, потом смахнул стекляшку носком и стер кровь рукой. Не глядя, схватил брюки, надел свитер.

Лифт поскребывал, как будто цеплялся за каждый этаж вздыбившимися нервами Михаила. Желание двигаться быстрее замедляло все происходящее. В голове — гул, в горле — ком, в глазах — слезы. В ботинке стало мокро от крови. Уставился на себя в заляпанное лифтовое зеркало, мельком заметил: свитер надет наизнанку — зафиксировал это больше механически, чем осознанно.

*Поля, Поля, Полечка... Как же тебя угораздило, девочка?*

Вышел из подъезда. Завел машину, слишком резко бросил сцепление, двигатель поперхнулся, заглох. Попытался завести снова. Когда наконец тронулся, крепко сжал руль.

*Все, возьми себя в руки... и не гони. Еще тебе свой грузовик найти, а ей уже все равно...*

*а с Надей что? Только бы сердце выдержало у нее... Это ничего, брат, это, брат, все ничего... Это бывает так... Да. Треплет жизнь. Щедра, сука, на тумачи.*

Улицы почти пусты. Редкие прохожие, машины с шумом пролетают навстречу: через запотевшее стекло растянутые блики — скованные фарами встречные огни, желтые и оранжевые круги в раскачку.

*Как же ты мало пожила, Кнопка... Даже матью не стала.*

Знакомый черный забор из стальных прутьев наконец показался в свете фар. Главный вход больницы был закрыт. Полусонное здание. Светилось только несколько окон. Резко затормозил, покрышки чиркнули об асфальт. Хлопнул дверью. Машину оставил на парковке. Шел по внутреннему дворику вдоль стены. Представил себе труп дочери, стало не по себе.

*И только тот, кто поднимает нож, обретает Исаака...*

В голове невольно пролетали обрывки воспоминаний, как почти тридцать лет назад разгуливал здесь с букетом тюльпанов и ждал жену с новорожденной малышкой — сидел на свежоокрашенной скамье, на которую постелил толсто сложенную газету. Теперь снова приехал за этим крохотным существом, ставшим молодой красивой женщиной и так поспешно обездвиженной, похолодевшей: осталось только распластанное тело, как подачка, как оплеуха, и ушедший взгляд, да этот запоздало-насмешливый рост ногтей. Не видя еще тела дочери, Михаил навязчиво ощущал ее смерть, ее потухшие глаза, казалось, что слышит сейчас даже треск ее мертво-ползущих ногтей — слышит прямо здесь на улице, у стен больницы, куда еще не вошел, — ногти хрустели, как стрекозы, а может быть, это скрежет лифта или звук просипевших после резкого торможения шин оставил в памяти затянувшийся след. Дивиль с трудом сейчас отличал одно от другого: ощущения режиссера слишком обострились, но вместе с тем и спутались. Бесчисленные, скомканые звуки налипали, ошпаривали кипятком: металлический стук секундной стрелки на ручных часах, хотя рука глубоко в кармане — он не мог их слышать, но слышал; в жилом доме неподалеку кто-то распахнул двойную форточку, стекла клацнули, задрезжали; ветви деревьев покачиваются на ветру, царапают друг друга, пористые стволы растягивают свою древесную шкуру, кора вот-вот лопнет — деревьям будто бы стало вдруг тесно в своей оболочке, стволы расширились и начали оттопыривать сдавивший их шершавый слой — тополиная и кленовая плоть распухла, разрослась, кора трещит по швам, она вот-вот поддастся натиску и даст нарыв — даже больничные стены, казалось, отслоятся сейчас отсыревшим куском старых обоев, повалятся под ноги, обнажив пустоту: так же растянута, так же до треска выпячена над головой матовая чернь неба — его сдавило околуплодным пузырем, казалось, ткни в него пальцем — и что-то непоправимо изменится, смочет лавиной или зародится. Шершавая темнота ночного города напирает, наползает тесной скорлупой, окружающая реальность раскалена и распахнута, но главное, Михаилу казалось, будто бы в нем самом что-то безвозвратно осыпается сейчас и линяет, вылущивается — срывается с мертвой точки.

*Выходит, навсегда прощались в тот вечер? Если бы знал, сказал бы больше... Ничего не осталось.*

— Вам кого?

Дивиль оглянулся на голос и увидел старика в черной униформе.

— У меня дочь здесь... под грузовик попала с другом... и жена... Подскажите, где вход?

Старик поманил за собой жилистой рукой:

— Пойдемте, провожу... За жену не переживайте, все у нее нормально, прихватило сердце, это и на ровном месте можно... врачи рядом, что уж тут... а ребят-то жалко, да, молодые совсем, птенцы совсем...

Михаил удивленно посмотрел на охранника:

— Вы их видели?

Морщинистое, почти вязкое желтоватое лицо теплело в темноте:

— Да, молодых часика три как назад привезли, а жинка ваша...

— В порядке она?

Охранник кивнул:

— Да, говорю же. В палату уложили, чтоб оклемалась малек...

Старик закашлялся.

Михаил только сейчас рассмотрел его внимательнее — первоначально видел лишь черную униформу и седые волосы, лицо было в тени. Золотой зуб блестел в темноте. Когда проходили мимо фонаря, Дивиль почувствовал взглядом частые, глубокие морщины, множество шрамов. Разорванное ухо производило тяжелое впечатление, но глаза были очень спокойные — старик смотрел прочно, как-то основательно и с небольшим прищуром правого глаза.

Длинные, корневидные пальцы старика почесали щетинистый подбородок. Охранник повернул смуглое, истерзанное лицо к режиссеру и с сочувствием глянул на него, потом кивнул на дверь:

— Вот вход...

Михаил тряхнул головой, взялся за пластиковую ручку двери и, словно двигаясь по инерции, ввалился в больницу. В сумрачном фойе за окошком регистратуры сонная медсестра клевала носом и вздрагивала от резких пробуждений. Увидев вошедшего, поправила шапочку и прикрыла зевок ладонью.

— Здравствуйте, у меня жена здесь в палате и дочка... Дивиль — фамилия... то есть у супруги другая фамилия сейчас, мы разведены...

Миловидная медсестра с веснушками и рыжей шерсткой над верхней губой глянула на режиссера с состраданием, вышла из своей кабинки и положила руку ему на плечо. От нее пахло дешевыми сладкими духами.

*Апельсиновый с корицей или цветочный.*

Режиссер усмехнулся про себя.

*Нашел, на что обращать внимание...*

— Да, да, я поняла вас... Вот как подниметесь по лестнице чичас на четвертый этаж, поворачивайте налево в четыреста пятую, — выставив перед собой руку с обгрызенными заусенцами и ногтями. — А морг в подвале, можете чичас туда сначала. Я позову санитаря, чтоб проводил. Только бахилы наденьте, пожалста.

Каждое слово произносилось вкрадчивым, почти извиняющимся полусшепотом.

*Даже не знаю, что хуже: казенное равнодушие или этот полусшепот с вкрадчивым сочувствием.*

— Да, я сначала к дочке лучше. С супругой нормально же все? Мне охранник сказал, что все хорошо.

— Не переживайте за нее... сердце пошалило немного, но теперь она успокоилась, лежит в палате под наблюдением.

Медсестра подошла к своей будке, сунула руку в окошко и нажала несколько кнопок на телефоне, вытащила трубку к себе, обмотав кудрявый провод вокруг указательного пальца:

— Малик, подойти ко мне, нужно в морг родственника проводить... да, прямо чичас.

Положила трубку и повернулась к режиссеру:

— Чичас подойдет, подождите пару минут, пожалста.

Дивиль кивнул, мельком глянул на калошевидные ботиночки медсестры и сел на жесткую скамью у окна, закрыл глаза.

*Это «чичас» ее надо вставить в диалог кому-нибудь из артистов... характерное такое словечко, музыкальное... Но вообще она переигрывает, по-моему, в первый раз же меня видит, да насрать ей совершенно, кто у меня и чего... к чему эти придыхания, не понимаю.*



Через пять минут спускался по лестнице. Уставился в небритый смуглый затылок санитара с проглядывающим из-под волос чиреем. Коричневая плитка и люминесцентный свет. В коридоре с бледно-серыми стенами пахло спиртом и формалином. Вошли в темную комнату, похожую на предбанник. Малик включил свет, взял из шкафчика две шапочки, одну надел сам, вторую протянул Михаилу. Его левый глаз немного косил, неприятно искажая достаточно правильные черты лица.

— Зачем это? — Дивиль выставил перед собой ладонь с шапочкой.

— Чтобы волосы не пропахли.

Михаил так и оцепенел, глядя на санитара: Малик быстро отвел глаза, торопливо натянул колпачок на голову. Дивиль все стоял и смотрел на его полуотвернувшееся лицо, на свежевобритый подбородок. Было видно, что санитару неловко.

— Халат тоже накиньте, справа висит.

Санитар открыл металлические двери и включил яркий свет. Холодное помещение — длинный прямоугольник с мелкой кремовой плиткой на стенах и темно-коричневым отгаливающим чистым полом. Никелированные квадратные дверцы, напоминающие о больших почтовых ящиках. В центре зала несколько столов на колесах. Один ожидающе-пустой, а два других накрыты белыми простынями, под которыми угадывались человеческие контуры.

Михаил вошел, бросил взгляд на простыни, потом закрыл глаза: почувствовал пугающее присутствие чего-то невидимого, осязал сейчас это затаившееся присутствие всем своим существом. Снова открыл глаза: он не только видел, что под простынями кто-то есть, он ощущал наполненность этих простыней и энергетическое присутствие чего-то еще, помимо двух покойных — значительно большего, чем можно было увидеть или понять; от этого пронзительного присутствия становилось не по себе, как-то тесно и взвихрено.

Дивиль не сомневался, что его дочь лежит ближе к стене, хотя на вид фигуры были совершенно одинаковыми.

— Да, это она.

Санитар, не успевший не только снять простыню, но даже подойти к столам, задержал на нем удивленный взгляд.

— Она под последней простыней. Я ее чувствую.

Михаил сделал несколько шагов, встал ближе. Ничего не ответив, Малик притворно откашлялся, подошел к последнему столу, встал рядом с Михаилом и потянул простыню, которая не сразу откинулась: то ли за что-то зацепилась, то ли прилипла. В голове Михаила вспыхнуло — и тут же погасло со скоростью мигнувшей электрической лампочки:

*Ему покойники привычнее, чем взлохмаченные несчастьем родственники... нелюдим.*

Вспыхнула моментальная мысль, режиссерское «я» высунулось наружу и оттеснило отца:

*Моноспектакль в морге, на сцене герой, сентиментальный санитар-нелюдим... среди накрытых простынями столов, идеалист задается вопросами мироздания и тоскует по любви, читает покойникам раннего Жуковского... покойники как метафора омертвелого в своем равнодушии общества... нет, тогда лучше не Жуковского, а что-то вразумительное...*

*Нет, чушь. Реникса... лучше мизантроп, социопат, маргинал — все действие среди этих жутких столов, приглушенный свет, он мечется как зверь в клетке и страдает от того, что общество его отвергло, брезгливо выплюнуло, а в финале...*

Малику наконец удалось скинуть простыню, обнажив тело девушки.

В одну секунду Дивиль успел разглядеть черную гематому почти на пол-лица, надорванные фиолетовые губы и уши, потом скользнул глазами по своей любимой круглой родинке на бордовой шее, прямо по центру, чуть ниже подбородка, после чего отвернулся и зажмурился. Содрогнулся. Мгновенное опустошение, почти забытье. Наощупь отыскал белоснежную холодную руку. Увиденное хлестнуло по сознанию,

откликнулось внутри тяжелым хлопком. Обезображенное лицо не исчезло даже после того, как он зажмурился, — страшный образ, как кадр, впечатался во внутреннюю поверхность век: контуры мертвого, иссиня-черного лица проступали сквозь темноту проявленной пленкой — и никакими усилиями не удавалось стереть этот образ.

— Все, можете накрывать... Жена, надеюсь, не видела?

— Нет, мы не пустили...

Михаил выждал несколько мгновений, а потом открыл глаза. Тело уже было закрыто.

— Это хорошо... У меня просьба... Отрежьте для меня локон ее волос. Потолще...

Санитар кивнул, а Дивиль вышел в коридор, немного прихрамывая. В ботинке хлопала кровь.

Во время похорон Михаил стоял рядом с бывшей женой. Сжимал в ладони густую прядь светло-русых волос, намотанных на указательный палец левой руки. Уже начинало подмораживать. Мелкий снег сыпал на землю. Смешивался с черной грязью и пожелтевшей травой. Пришедших было много: знакомые, родственники, друзья и коллеги жались друг к другу огарками истаявших свечей.

Черная могила, окруженная грязным снегом, смотрела в небо как испорченное брюхо, как разинутая пасть. Михаил переводил взгляд с бледных лиц, окруженных паром, на вишневый гроб и хрупкие кресты — бесчисленные, как ржаные колосья в поле. От мраморных плит с фотографиями становилось еще холоднее. Внимательные и мрачные лица погребенных смотрели с памятников, напоминающих запотевшие окна. Казалось, застывшие на фотографиях глаза чего-то усиленно ждали. Ко всем этим пожелтевшим овалам, истертым временем, добавился свежий снимок смеющейся Полины.

Михаил не хотел отпускать дочь, он держался за память о ней, за ее смех, за родинку, он сжимал Полину, как эту самую прядь волос, и тянул к себе: жизнь давно была обесмыслена, подрезана — теперь, без дочери, сделалась чем-то еще менее полноценным и совершенно никчемным, но что-то смутное в глубине души, какой-то едко тлеющий огонек подсказывал ему: отпустить необходимо. Дивиль не сомневался, его еще долго будет беречь смерть дочери, но нужно сделать все, чтобы удержаться за это обновленное горение, занявшееся в собственной душе, за этот нарастающий внутренний полусшепот своего существа, который он сейчас так отчетливо распознал.

Наблюдая за происходящим, вспомнил похороны погибших родителей, которые при жизни пожелали быть кремированными, дабы избавить близких от лишних расходов и хлопот. Режиссера передернуло от этих обрывков прошлого, вывалившихся из памяти: три кирпичные трубы Николо-Архангельского крематория с жиденьким черным дымком на фоне пасмурного неба даже при полном окостенении воображения напоминали ненасытное чрево кирпичных печей Аушвица — по существу, разница была невелика: разве что по Николо-Архангельскому расхаживали не садисты-эсэсовцы, а вежливые служащие, которые сидели на стульях с высокими спинками, ставили красивые печати и с пониманием смотрели на родственников утилизируемого человека сквозь стеклянное окошко, похожее на билетную кассу вокзала (здесь пахло ЗАГСом и юриспруденцией, суета в очередях напоминала паспортный стол, а вежливые служащие предлагали торжественного Баха в качестве музыкального сопровождения и скороговорки священников с кадилом, которые своим присутствием несколько сглаживали циничность расправы с человеческими останками). Вспомнилась и воронья стая попрошайек — рабочих крематория, которые вымогали у родных покойников деньги на помин души, словно разгоряченные проститутки у загулявших клиентов; вспомнились четыре пышущих здоровьем санитаров морга — носильщики, которым пришлось отдать четыре тысячи за десять шагов от ритуальной залы до микроавтобуса, так как с Михаилом были одни женщины и донести гроб с матерью было больше

некому, за второй гроб с отцом они попросили еще четыре тысячи; вспомнился дядя Макар — больничный сторож, низкорослый старик с лицом все повидавшего человека, презирующий санитаров за их алчность. Дядя Макар взирал на вереницу покойных с видом духовника, отпускающего грехи (глядя на него, так и казалось, что вот-вот он перекрестит воздух ладонью и скажет: «In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen»). Но дядя Макар, вопреки своей пасторской внешности, воздух не крестил, а все норовил покрыть матом санитаров и курил без конца свой любимый «LM» красный; вспомнилась женщина из крематория, которая произносила казенные слова прощания, прежде чем спустить гроб на конвейер — женщина, похожая на тех сдобных, блестящих дам, что объявляют мужем и женой, предлагая поцеловать невесту. Михаилу тогда подумалось, что это, наверное, одна и та же женщина, которая работала, работает и будет работать на полставки во всех крематориях и ЗАГСах России...

Надя прижалась к его плечу. В ухо впорхнул надтреснутый, щекочущий шепот:  
— Дай и мне подержать... Дай...

Михаил осторожно вложил прядь в ледяную руку и посмотрел на бывшую жену: сухие материнские глаза. Глинистое, застывшее лицо Нади с чуть удивленно приподнятыми бровями, и эта обезвоженность — обезбоженность? — взгляда напоминали о смерти даже больше, чем свежеврытая могила и кладбищенские кресты, даже больше, чем гроб с Полиной. Хотя на секунду Михаилу показалось: за этой родинкой на шее, за этими плотно сжатыми губами и беленым, свежеприбранным лбом уже не скрывается та, кого они так любили когда-то и так надломленно по-новому, обновленно любят теперь. Надя же сама сейчас напоминала один из этих крестов, она была настолько обесцвечена, почти стерта, что можно было подумать: это ее собственные похороны, ее собственная смерть. Округлый подбородок и щеки стали дряблыми, будто покрытыми песчаной рябью — лишенная корней, она лишилась соков и буквально на глазах превращалась в солому.

*Постарела. Губы, как снег... Почему выбрал именно ее? Полюбил. Искренне полюбил тогда... Ну а потом?... Иногда кажется, что до сих пор...*

— Надюша... Мы глупость сделали, что развелись.

Два карих измученных глаза вопросительно скользнули по небритому лицу Михаила, равнодушные, но цепкие, коснулись его холодными зрачками:

— Почему ты сейчас об этом вдруг?

Дивиль взял ее за руку.

— Просто понял, что ты дорога мне... по-настоящему. И самое нелепое, что осознал это, только похоронив нашу Кнопку.

Надя шмыгнула носом. После развода она часто вспоминала их знакомство и совместную жизнь. Впрочем, слово «вспоминала» здесь не совсем уместно. Взгляд, обращенный на пятнадцать лет, прожитых бок о бок с мужчиной, от которого у тебя дочь, — это не вспоминание — это почти что ощупывание собственного тела, и уже неважно, как давно вы развелись, все эти годы навсегда с тобой, навсегда в тебе.

Михаил сжал руку:

— Не молчи, Надюш... слышишь?

— Ой, Миша, ну давай еще скажи, что любишь меня!

*Как это все мелодраматично и сладенько... Чехов бы нам с Надюшей таких диалогов не простил.*

Задав вопрос, женщина нервно усмехнулась и отвернулась от черной могилы. Уставилась на колючие ветви бледно-рыжей сосны, на промозглое небо. Пахло смолой и грязью. Надя ловила на себе соболезнающие взгляды родни и друзей — это вызывало в ней отторжение и даже агрессию, женщине хотелось крикнуть им какую-нибудь гадость, плюнуть в их лица, бросить ком грязи — не в могилу к дочери, как это сейчас нужно будет ей сделать, а в них — в них — в них.

Черные платки, меховые шапки, плащи, сапоги, зонты и перчатки. Кто-то из родни начал аплодировать, намекая на то, что Полина играла в нескольких постановках отца, но Дивиль недовольно поморщился и отрицательно качнул головой: подхваченные было аплодисменты затихли.

Михаил долго не отвечал Наде. Они встретились глазами и около минуты молча смотрели друг на друга. Надя провела рукой по его щеке. Так и не ответив, Дивиль только тихо улыбнулся, вымученно, потом прижал к себе и поцеловал в висок. Губы дрогнули:

— Может, обвенчаемся?

Надя скривила лицо в ломаной улыбке и сильно сжала его пальцы.

## Явление VI

Через полтора часа заведение наполнилось стеклянным дребезгом, кальянным дымом, человеческим жаром: кровавым, потеющим, возбужденным теплом; наэлектризованный воздух щекотал ноздри, вызывал жажду и зуд, он тяжелед, сворачивался, слоился и распадался на свинцовые шайбы, и, когда очередная пара бокалов звонко встречалась в полумраке, казалось, что они ударяются не друг о друга, а об этот кремневый и ребристый воздух; рассеянные улыбки сквозь туманную гущу, лохматые головы, обезличенные фразы — инертные, неуловимые и прозрачные, как вода; разговоры и смех постепенно сливались в однородную массу, сбразивались, а взопревшие от жары тела, сдавленные теснотой пространства, теряли очертания в этой мерцающей темноте, перемешивались в бесконечном трении.

Николай Сарафанов посмотрел на часы. Белесый циферблат на раскрасневшейся руке, тонкая стрелка-попрыгунья — казалось, вот-вот, еще немного и хрупкая, такая беззащитная стрелка-иголка сломается, треснет, зацепившись за черные метки пятиминутный, но стрелка стройно вышагивала, спешила себе дальше, цеплялась, карабкалась по секундам — неумоимо торопилась, оставляя что-то там, где-то там. Влажный от рома Сарафанов, покрывшийся глянцевым румянцем, как-то без особо острого желания поглядывал на парочку девиц у барной стойки: слишком уж он размяк от алкоголя, но тягучая и цепкая, какая-то механическая сила снова подступала, приливом-отливом — глаза на окружающих женщин — изгибы, покатые и плавные линии, податливые образы, уступчивые взгляды и запахи, запахи и пальцы — рука опять за бутылкой: прохладное стекло в ладонь, теплый стакан, пузырьки и всплески, чуть размытые контуры-блики и навязчивый шум. Мысли стали отделяться от тела — тело собиралось, спутывалось в мужской узел, напрягалось — узел все сильнее раскалялся и обжигал, расшатывал равновесие: Сарафанову казалось *иду по канату, куда-то опаздываю, что-то забыл*. В тяжелом узле скапливалась вся его мужская энергия, набухала, рвалась наружу, мертвым грузом раскачивалась, как маятник — пушечное ядро на лязгающей цепи — а в голове все знай себе *иду по канату, куда-то опаздываю, что-то забыл*. Ощущение стыда, внутренней какофонии или утраты. Бегло посмотрел на свои руки: румяная кожа жирнела, напоминала смоченную дождем глину — Сарафанов чувствовал земляную тяжесть своего влажного тела — с каждым годом все более остро. Ночью мучили кошмары: сегодня приснилась залитая водой могила, сначала смотрел на нее сверху, как если бы сам копал, потом лежал на дне — из воды высывалось лицо, покрытое моросью, уши заложило: каждая упавшая капля, глыба, как набат; свежевыврытые, размягченные стенки могилы опадали, комья валились с краев, пузырьки-всплески... Навязчивое хлоппанье и гул.

— Слушай, Арс, ну и как тебе эти две блондиночки? Только пришли, а уже который раз на нас глянули... Мне надоело их взгляды и улыбки считать. Я же не железный, в конце концов... и между ног у меня не финтифлюшка... в ботанике

сложившаяся ситуация называется «сухостой»... «сухостой» это всегда плохо, даже для ботаника... я чумичку — не хочу, я чумичкой поверчу... парампампам...

Орловский сделал несколько глотков и даже не повернулся к девушкам.

— Сарафан, мать твою, ты за все время работы над спектаклем ни слова о своей роли не сказал...

Николай пожал плечами:

— Ой-ты, ной-ты... киокушинкай, барракуда. Чай, не сталкера играю, не седьмого самурая и не Рублева... мне бы твои годы, Ванечка: ишь ты-ишь ты, острый какой, сукин сын... давай за «Андеграунд» Кустурицы лучше жажнем по стакашку — это же не фильм, а одно сплошное камлание... почему, Арсюша, вот почему у нас шас нигде такое не снимают?

— Я больше «Окраину» Луцика люблю и «Декалог» Кесльевского...

— Вот возьму и в сериалы подамся или в рекламе виагры сниматься буду, и никто мне не указ... в сериалах платят по-царски: от сорока до семидесяти за съемочный день в этой порнухе... чем не жизнь? И так будет до тех пор, пока мне фон Триер или Карлос Рейгадас не сделают предложения, от которого я не смогу отказаться...

— Ой, да Триер еще с «Нимфоманки» сдулся... один младенец, который не растет — чего стоит... в новелле семнадцатилетняя героиня с колясочкой болтается, а потом Шарлотта Генсбур в полном расцвете бальзаковских красок играет повзрослевшую мать и шляется с тем же самым грудничком... «Джек» тоже дерьмо знатное, с попыткой Данте за жопу притянуть во всю эту «Пилу. Часть 274»... А с рекламой, значит, засосало тебя, Сарафан, чеплушка ты моя лохматая, я всегда знал, что ты плохо кончишь, — Орловский кольнул друга взглядом. — Скоро за главную роль будешь какому-нибудь продюсеру минет делать...

— Слышь ты, Ясная поляна, замолкни уже, дай отдохнуть нормально! Я всегда кончаю хорошо. И не смей называть меня Колей... я синьор Бесчинство де Сарафаньеро-Франциско идальго Уринотерапевтический и Кентерберийский — запомни это имя, прохвост... Шас в челюсть тебе двину точно, достал уже, зануда... и вообще, моя меркантильность — детский сад по сравнению с вымогательством экскурсоводов Успенского собора во Владимире... надо быть гуманным, Арсюша. Не ссы в компот — там повар ноги моет...

Арсений улыбался, смеялся, отражал шутки Сарафанова, но в глубине сознания ощущал гнетущий полумрак и страх: бледнолицые демоны, как придорожные фонари-болваны, заглядывали в купе мчавшегося поезда и мельтешили-мельтешили перед глазами выцветшими плафонами и пыльным светом — сливались в сплошной, непроницаемо-злой поток: леденящий, сиротский. *Бегу по темному коридору, сотни, тысячи дверей, я стучусь и кричу «откройте», но все только двери и дверные ручки, и все эти коврики под ногами, а я, как по шахматной доске, только я, двери и эта геометрическая, абстрактная недостижимость черного коридора, в котором, мне все кажется, вот-вот закончится воздух, и я задохнусь, непременно задохнусь, но нескончаемый этот коридор все убегает-убегает от меня, от моих шагов и даже от эха — он все проглатывает, обертывает своей темнотой-мешковиной, даже не слышу звука собственного дыхания, шагов, коридор все проглатывает, а я все бегу за ним, за его глубиной, за уползающим от меня сумраком, пытаюсь наступить на эту темень, как на длинный кошачий хвост, но не успеваю, и все эти двери-двери, Господи Иисусе, да откройте же хоть кто-нибудь...* Наконец удалось распахнуть одну из них: вывалился из коридора, оказался в темных комнатах собственной квартиры. За занавесками — пустое окно, схватившее в свой прозрачный куб черное небо, пасмурный квадрат рябого полнолуния, а тут же подле окна на полках покрытые толстым слоем пыли книги, надкушенное — с рыжиной налета — яблоко на столе и зеркало, отражающее край окна. В сознании промелькнуло детское воспоминание: еще в Самаре лет в десять по дороге в школу наткнулся на труп собаки. Лежала на обочине — обездвиженная, настигнутая

скоростью, пригвожденная к асфальту. Перед глазами затвердевшая в лишайник, в какой-то серый грибок шерсть — клеенная кровью окостеневшая мохнатость собаки, приоткрытая пасть, непроницаемая темнота зева. *Все это здесь, все это подмигивает мне из прошлого...* Хвост собаки трепало ветром, остальное замороженной кляксой замерло на веки вечные, остекленело на дне памяти. С годами казалось, что все это растаяло и выдавилось из реального мира его воспоминаний, как зубная паста из тюбика — но сейчас стало очевидно: *я сам, я сам этот тюбик*. Вокруг носа и глаз мертвого пса летали мухи — трупный яд, аммиак и сероводород сбраживались в подсознании, гнилая струя омерзительного воздуха ворвалась в сознание Арсения, как гейзер, пробила его беззаботную веселость..

Орловский полушутливо поднял руки:

— Ладно, все, не буду больше, сдаю, разврат, так разврат.

— Ну надо же, одолжение он сделал, — Сарафанов хоть и ворчал, но смотрел на друга беззлобно. — Ну что, как тебе бидончики эти?

— Какие еще бидончики, что ты несешь?

— Тьфу, блондиночки, оговорился.

Орловский мельком оглянулся на девушек:

— Не знаю, не то что-то... целкости в них нет, понимаешь? Видал, какой износ на морде лица? Ты опять в своем стиле: вечно ищешь страшеньких с хорошей фигурой, потому что сговорчивей...

— Я люблю с червоточинкой, по-карамазовски, понимаешь? Чтобы с грязнотцой. Такие восторженнее трахаются. Это ты у нас любитель породистых кобылок неприступных... бывает, заходишь, знаешь, смотришь: блин, сидит ну просто перепелочка... просто как чашка на столе стоит и ждет, только пар идет... Нет, ну я же не железный, как можно пройти мимо, ты мне скажи, май френд?

— Да просто у тебя плохой вкус... Две ряженые куклы: для туалета в самый раз или в монастырь их своди, а я не хочу... Вечно ты ведешься на эти стандарты женской фортификации...

Сарафанов насупился и скрестил руки в замок:

— Нормальные трясогузки, не знаю, что ты нос воротишь... по крайней мере, на передок точно слабы... майне кляйне, вас ис дас, смотри, Арс, а как тебе та вон фрау Недотрах? Я бы ее раскорячил вдрызг... распеленговал бы во все ущелья и междометия, бох ты мой... У окна сидит которая, вишь?

Арсений оглянулся. В глазах фрау чувствовалась не просто страсть, а годами сдавленная до вывиха похоть — готовая переломить кости, прожевать и выплюнуть. Одежда монашеских тонов, очки и заколка держали ее крепкой уздой, но даже со стороны чувствовалось, что вот-вот еще немного, раздастся треск, хруст, тарарам и возбужденная дамочка-лавина, скинув с себя одежду и растрепав волосы, перекроет все входы-выходы и с торжествующим визгом начнет гоняться за мужчинами, переворачивая мебель и разбивая посуду. Воцарятся всеобщая паника, мрак и ужас. Десятки взволнованных пальцев будут с дрожью набирать номера МЧС и скорой помощи. Грянет гром. Вспыхнет молния. Оседлавшая очередного самца дамочка достанет шаманский бубен, будет кричать «эгэ-гэ-гэй» и огласит помещение горловыми криками индейцев из племени ирокезов. Мужчины станут умолять о пощаде. Отмахиваться ножками стульев и пепельницами, но дамочка-лавина пощадит лишь детей и стариков. И женщин, которых она закроет на кухне и в подсобных помещениях, чтобы они не мешали. Вой сирен, оцепленная красно-белой ленточкой территория квартала. Силы СОБР и «Альфа» прорываются через забаррикадированные двери, но оказываются в ловушке. Выбитые из натренированных крепких рук автоматы оказываются беспомощными. Дамочка воспринимает отряды спецназа как посланное ей государством жертвоприношение с целью умиловить, утолить и обезвредить, поэтому камуфляж силовиков разлетается в лохмотья, кожаные портупеи и ремни

податливо рвутся под натиском разошедшейся дамочки, которая высасывает бойцов, как дракон-людоед — одного за другим до истощения и полного изнеможения, пока кто-то наконец-то не догадается пустить слезоточивый газ. Только после этого женщину свяжут канатами и под конвоем вертолетов увезут в бронированном грузовике. И на перепуганный город вновь опустится покой.

— Очень томный профиль... Заколкой стянутая хотелка, аж трещит, по-моему... Одна, смотри, но подругу ждет, наверное... Кандидат наук, по-любому, видал какой хмурый хмур у нее? Мне кажется, до нее только дотронься, на ушко что-нибудь шепни, и она ключи от жопы потеряет сразу... это так же закономерно, как тот факт, что в зале во время спектакля всегда найдется хотя бы один дебил, который не выключит звук у своей мобилы, и хоть ты ему кол на голове теши... ой слушай, была у меня одна девочка с какой-то деревеньки таймырской — она так смешно стонала, я ее вопли называл: «базлать по-таймырски»... не знаю, чего она мне вдруг вспомнилась тут.

— Попустись, Коля, и не бесчинствуй... Ты амбивалентная псина.

Николай раздраженно фыркнул:

— Это я-то амбивалентен? Слышь ты, Доширак, ты это сейчас мне сказал? Сраный хоббит, Вульва Бэггинс... Да это ты воплощенная двойственность, достаточно даже бегло на твою рожу глянуть, чтобы понять, насколько безбожно ты амбивалентен... тебе только «Ролтон» рекламировать... и как я могу не бесчинствовать, если я синьор Бесчинство де Сарафаньеро?

— Говорю же, отвали, мурло.

— Слушайте, татап, вы меня изумляете в своем равнодушии... Трясогузочки ему не нравятся, фрау Недотрах — не годится... выбирай тогда сам, гамадрил.

Арсений встал из-за столика, взял стакан.

— Блин, ты мертвого же достанешь. Посидишь спокойно с тобой... Сейчас вернусь, дурень...

Орловский шел по заведению, вдоль столиков и облепленной людьми барной стойки, вдоль широких кирпичных выступов, на которых целовались парочки, свесив ноги, или возбужденно говорили по телефону нервные одиночки, прикрыв одно ухо ладонью, размахивая другой рукой. Арсений привычно ловил зовущие искры-взгляды, томные или пытливые: одни глаза веселые и избалованные, сытые, другие — одинокие с уставшей поволокой и горечью; попадались шальные зрочки с наркотическим вывихом, какой-то болевой распаханностью, обездвиженностью, как в гипнозе; и рассеянные — мельком, как бы невзначай, помазком неуверенности, робости или с хищным нахрапом прощупывающие, взвешивающие его по одежде, часам — с переводом в денежный эквивалент. Актер щупал взглядом брошенные ему улыбки, взвешивал, как гальку в ладони, следил за ответными ответами, ласковыми вопросами из-под ресниц, просеивал их через сито, соотносил с типажам из прошлого-памяти. Несколько раз наткнулся на такие же ласковые вопросы из-под мужских ресниц — с отвращением отвернулся, нахмурился.

Многоголосая толпа — взбалмошная, истеричная масса человеческих тел, клубок амбиций, желаний, спеси, первобытных инстинктов и и сухой логики — толпа противопоставляла себя Арсению. Агрессивная, вероломная, она навязывала чуждые ему роли, пыталась лепить на угодный ей вкус и лад: Орловский ловил на себе потоки, которые провоцировали в нем желание самоутвердиться, выделиться среди других мужчин — когда хватал эту инертную стихию за глотку, ловил в себе ее щупальцы, она, ущербная и немощная, вызывала у него лишь гадливость. Но стоило ослабить бдительность, и кажущаяся слабость толпы оборачивалась ураганом, вихрем. Стихия вдруг выхватывала Арсения из его собственного «Я», бросала в беспмятную податливость, его срывало с опоры и несло по прихотливому потоку куда-то туда —

к обезличенности, к мерцающему мраку, к смерти; взгляды одних девушек высвобождали его демонов, зывали к его темной страстности, к его внутреннему непослушному и ненасытному самцу, жожаку, хулигану; другие, наоборот, с разочарованием отшатывались, если нащупывали в Орловском что-либо подобное — эти вторые звали лучшую его сторону, сердечную, если угодно, чистую — приглядывались к серьезности его глаз, способности по-настоящему чувствовать, быть отцом. Но Арсений не хотел разделяться, он не хотел играть сейчас ролей-полумасок (хватало с него и театра): не хотел играть ни «плохого мальчика-повесу», ни «серьезного мужчину-семьянина» — в Арсении было все это, вся скверна и святость, вся сила и слабость человеческой мужской природы пульсировали в нем, рвали рубаху и неистовствовали; Орловский не хотел пластать себя на удобочитаемые лоскутки-обрывки — эта всеобщая привычка к двучветью восприятия до осатанелости бесила актера, он просто пытался оставаться собой, так что всеми силами срывал с себя навязанные ярлыки, путы близорукой дуры-толпы, чтобы сохранить себя вне этих тупых, сортирующих взглядов.

Глядя на влекущие изгибы женских тел, чувствуя под одеждой податливую упругость и молодость, почти физически ощущая сексуальность каждой даже самой обычной девчушки с пустыми глазами и совершенно лишенным индивидуальности лицом, Арсений-человек испытывал скуку. Он с первого взгляда определял своих женщин, как летучая мышь ультразвуком, улавливал их родственную ему глубину, но Арсений-мужчина — Арсений-животное хотел дойти до крайней точки физического насыщения, забить свою неутолимую глотку всеми этими стройными ножками, изящными спинами, плоскими животиками, чтобы окончательно пресытиться женской плотью и освободиться от этого нескончаемого порабощения древним игом женщины. Он с тоской подумал сейчас о том, сколько своей энергии влил в женское тело, сколько отдал ему слов и времени.

Перед глазами промелькнуло сегодняшнее утро, почему-то вдруг вспомнил, как перед выходом в театр лежал в ванной, раскинув руки на прохладные края: смотрел на пальцы ног с длинными кривыми ногтями, а черная дыра стока всасывала в себя, глотала спускаемую воду с катышками отслоившейся грязи, слезавшегося в хлопья жира, мелких волосков — мутная мыльная вода сплошным потоком уходила в черноту отверстия, как в преисподнюю, стекала в никелированную глотку, исчезая в канализационном небытии вместе с отходами его телесности, а Арсений все смотрел то в эту черную дыру, то на сморщенные пальцы ног. В мужских стопах есть что-то извечно стариковское, уставшее, вялое. Похожие на костяные узлы, на грибы, мужские пальцы ног почти всегда неприглядны, как черновики, как скрытые под землей корни деревьев, обнажение которых противостоит — Орловский хорошо знал это и привык к их вечно изношенному, мозолистому виду с ранней еще молодости, но сегодня — сегодня было что-то другое. Арсений смотрел на свои кривые пальцы и зазубренные ногти, отчетливо ощущая приближающуюся старость. Он ясно увидел себя в образе старика, ему даже показалось, что он давно состарился и вот лежит сейчас, смотрит на свои постаревшие конечности, на дряблую кожу и пожелтевшие ногти, не желая признавать состоявшегося факта, как бы прячется от его беспощадной несомненности. Арсению даже показалось, что слышит потрескивание своей распадающейся плоти и плачущий скрип костей, вдруг потянувших его к земле. Орловский взял круглое бритвенное зеркало, провел по нему влажной рукой, чтобы стереть запотелость, и посмотрел на свое распаренное лицо. *Нет, все в порядке. Мне тридцать семь, да что ты с ума что ли спятил?!* Актер улынулся вновь запотевшему отражению и убрал зеркало, вылез из ванны, взял полотенце... Однако послевкусие этого навязчивого ощущения оказалось слишком стойким, еще долго держалось оно нависшей тенью-призраком: пока собирался на репетицию, пока варил кофе, завтракал.



В хлопотах дня как-то постепенно рассеялось, а вот сейчас опять, ни с того ни с сего, дало о себе знать, неприятно кольнуло.

Арсений зацепился взглядом за двух девушек: сидели в дальнем углу, не выставляли себя напоказ, не искали мужчин глазами, просто разговаривали и пили «Маргариту». Выдержанная красота и порода обеих, да и темная однотонная одежда, хотя и подобранная со вкусом, но лишенная печати чрезмерного усилия, которая всегда так раздражала Орловского, поскольку выдавала своей навязчивой и претенциозной яркостью отсутствие эстетического чутья и культуры, а еще чаще — попытку при помощи одежды *создать* красоту там, где ее нет.

Актер остановился рядом с их столиком, оперся руками на спинку свободного стула. Подруги замолчали, подняли вопросительные глаза на пьяного мужчину; в их взглядах Арсений прочитал: *ну вот опять, дай отгадаю... или все-таки что-то новое?*

— Не нужно так смотреть, дамы, я не Тохтамыш, а вы не крепостные стены... просто выделяетесь на фоне этого курятника, мне и захотелось познакомиться. Но я не настаиваю, если не настроены на общение, то уйду... Или присяду все-таки?

Русая девушка в серой водолазке шелкнула по большой сережке-полумесяцу:

— И чем же мы выделяемся из этого курятника?

— Лебедяжьими повадками, — даже не успел моргнуть, ответил почти сразу, пристально глядя ей в глаза.

— Прямо-таки лебедяжьими, не лебедиными?

— Именно, что лебедяжьими. Это принципиально.

Рыжая подруга в черном расстегнутом жакете и шерстяных брюках скрестила руки, засмеялась:

— Главное, что не лебедятскими...

Арсений улыбнулся:

— Я тоже так думаю. Лебедятские — это совсем грустно, прям печальная печальность... Да я бы и не подошел тогда даже: лебедятскость — не мой профиль...

Девушка в серой водолазке чуть приподняла брови:

— Да, вы за словом в карман не полезете...

— Вот именно, — улыбнулся: гораздо больше сказал понравившимся девушкам молча — с осторожным напором притронулся взглядом сначала к одной, потом к другой. — Ну так что, вы не будете против, если ваш дуэт нарушим с приятелем? Присоединяйтесь, мы вот за тем столиком сидим — там гораздо удобнее, чем здесь...

Рыженькая подруга повернулась, куда показывал Арсений, и увидела Сарафанова, изображавшего пылкую страсть и томительное ожидание.

— Мы с краю сидим, а вы здесь на самом проходе, как коралловые рифы, торчите...

— Да, коралловыми рифами нас еще никто не называл.

— Значит, я первый буду... И это мы еще только начали, у нас знаете, как много открытий впереди?

Сарафанов не унимался: поймав на себе взгляды девушек, он совершенно расцвел. Схватился за грудь обеими руками, изобразил пламенное горение своего сердца. Девушка в черном жакете засмеялась и вопросительно посмотрела на русую подругу:

— Ну что, Настен, пересядем?

Настя улыбнулась, взяла бокал, сумку и молча встала. Сделала знак официанту, указав в сторону нового места. Арсений приобнял подруг и сказал шепотом.

— Только приближайтесь медленнее, чтобы мой хмырь не ослеп от вашей красоты. Ему нужно привыкать к вам постепенно, как к солнечному свету...

— А почему вы зовете своего друга хмырем?

Арсений почувствовал запах дорогих духов, мягкое женское тепло — ему все больше нравилась улыбка русской девушки, вызвавшая знакомые отголоски прошлого;

для него образы-оттенки и ассоциации всегда имели большую силу воздействия на настоящее. Настя взбаламутила воду: напонила одну очень сильную и чистую влюбленность школьных лет. Арсений жил тогда в военном городке подле Самары, а та девочка-одноклассница — Селена Кирсанова — ходила в школу из соседнего поселка. Из детства Орловского непрощено выглянули серые панельные пятиэтажки с насупившимися подъездами и крашеными лесенками, ведущими на рубероидные козырьки, ржавый кораблик во дворе, бетонный барабан для новогодней елки. Селена ходила в школу с большим красным ранцем из свиной кожи — Арсений знал: ровно в семь тридцать она оказывалась на перекрестке с заброшенной часовой, стоявшей на ее пути. Он всегда просыпался заранее, быстро завтракал и отправлялся на место, всякий раз делая вид, что совершенно случайно столкнулся с ней; девочка тоже вела себя так, будто с каждой новой встречей искренне удивляется таким постоянным совпадением, в действительности же всегда внимательно всматривалась в утренний полумрак над грязной разбитой дорогой, пытаясь отыскать глазами коричневое пальтишко Арсения — если не видела его рядом с часовой, то сбавляла темп и шагала медленнее, чтобы он успел прийти. По пути в школу много говорили, путались в бесконечных вопросах, захлебывались в слишком длинных ответах. Со временем Арсений слишком прикипел к этим совместным походам в школу, к разговорам, перекрещенным взглядам, востроносому профилю шмыгающей девочки, поэтому перестал маскироваться случайностью: теперь в те дни, когда Селена задерживалась, он залезал на груды холодных плит, сваленных напротив часовни, подстилал перчатки с маленькими дырочками на указательном и большом пальцах, садился на них и, бодро раскачивая грязными башмаками с репьями на шнурках, рассматривал надкушенный купол церквушки со срубленным крестом. Голодный призрак из детства — осиротелый вид стен с провалами окон, похожими на глаза умирающей старухи, — молчаливый сумрак ветхой часовни-обрубка... Часто смотрел в эту пыльную утробу и задумывался о конце всего...

В то время будущее рисовалось ему в сапогах и погонах — это не было детской мечтой стать «космонавтом-пограничником-милиционером», восторженным желанием подражать-соответствовать или тяготением к красивой военной форме, то есть вообще не было голозадой романтикой, а достаточно взвешенным и обдуманном решением — с ранних лет хотел служить, чтобы выхватывать из жизни комья червивой гуши, рвать зубами мякиш, давить сапогом. Он с ранних лет ощущал в себе эту особо заостренную энергию, какой-то внутренний код ДНК, запечатленный в крови призыв, взращенный предками инстинкт защиты и жертвования, чувствовал в себе назревающую жажду борьбы, но вот маленький Арсений смотрел в глубину этой немой часовни и наткался на ее мрак, будто ударялся лбом в закрытую дверь, становилось холодно — мгlistая пустота мертвой, обескровленной церкви, словно распахнутый проем потустороннего, облизывала его сквозняком своей тьмы и леденила кончики пальцев.

Сейчас Арсению подумалось: пойдя он все-таки этим путем, жизнь была бы проще — не в смысле простоты-легкости, а в смысле однозначности, какой-то двоичной очевидности того, что истинно, а что — ложно. Непокоримый дуализм мироздания служивого человека казался Арсению неслыханной роскошью. «Присяга, мужество, защита, жертва, верность, приказ, отчизна» — эти святыни-категории в его воображении были так чисты, так простодушно цельны и несомненны — особенно, когда их не произносили вслух, — что исключали любые кривотолки и разночтения. Арсений не сомневался, стань он даже самым середнячковым и спившимся офицером — эти категории все равно остались бы для него несомненными, поэтому в любую минуту он мог бы из чувства долга отдать жизнь, искупив через это всю поролоновую рухлядь прожитых дней. Впрочем, все дело не в чувстве вины, которое практически не терзало Арсения, хотя он отчетливо

сознавал, что прожил достаточно бестолковую и взбалмошную жизнь, — все дело в правильной точке приложения силы, которая отсутствовала у Орловского и которая каким-то извечным воинским наследием всегда давалась любому офицеру или солдату. Разуверившийся во всем Арсений-актер перестал понимать самого себя: его категории беспорядочным нагромождением, лишенным симметрии ворохом сыпались на голову, перебивая одна другую, — все эти литературные и драматургические «Я-личины», бесконечная вереница тем, монологов, которые рвали его на части, оглушая избытком духовного опыта и психологических моделей, навязанными масками, которые он успел поносить за свою театральную карьеру — маски отпечатывались на лице, поэтому все смешалось, часто Орловский играл в жизни и жил во время игры, реальность становилась сценой, а сцена выходила из берегов, взбесившейся стихией сметала все на своем пути — имитация превращалась в исповедь, а живое общение в личной жизни в актерские экзерсисы со строго выверенными интонацией и мимикой. Постоянная игра в жизни изнашивала, превращалась в одно сплошное безумие, непреодолимую путаницу; иногда Арсению хотелось остановиться, сжать виски ладонями и прокричать миру какой-нибудь «дыр бул шыл», прорычать бессмысленным рыком что-то невразумительное, исторгнуть из себя излишнюю энергию и все эти чужие роли-маски, всю эту многоголосицу форм и слепков, чтобы вспомнить себя — свое детское лицо, свое «Я», зачатое Вселенной для особого предназначения, для того чтобы стать частью чего-то всеобщего, но Арсений слишком хорошо чувствовал, что не раскрыл в себе этот замысел (иногда ему казалось, что много лет назад он вошел в бесконечное пространство какой-то вселенской гримерки, в которой надевал на себя все новые и новые костюмы, а теперь вдруг спохватился и вспомнил, что забыл, куда повесил свой собственный — тот самый, в котором пришел сюда).

Когда Селена не появлялась слишком долго, мальчику начинало казаться, что из мрака выпотрошенной часовни на него кто-то пристально смотрит, ощупывает, но вот у деревянных столбов линии электропередач, похожих на распятия, появлялась сиреневая курточка Кирсановой; Арсений спрыгивал с плит и шел навстречу по мокрой щебенке и липкой земле — при виде белолицей, улыбающейся девочки с маленькими ямочками на щеках и длинными ресницами становилось легко и весело, а тягостное присутствие церковного полумрака моментально улечивалось... В девятом классе родители Селены переехали в Ленинград, а сам Орловский через три года получил аттестат и подался в столицу — решил поступать в театральный институт. Больше не виделись. В памяти остались какие-то туманные следы, обрывки их короткни, да эта сверкающая, особенная улыбка.

Компания подошла к столику, Николай поднялся и протянул девушкам руку. Орловский улыбался привычной, достаточно формальной улыбкой, за которой не стоит искреннего веселья.

— Коля, дамы интересуются, почему я называю тебя хмырем? Поясни, будь добр.

Сарафанов приосанился:

— Потому что у моего друга плохое чувство юмора... Меня зовут Николай. Но можно просто синьор Бесчинство де Сарафаньеро... или идальго Кентерберийский.

— Ха-ха... а меня скромнее: Элеонора, — на руке рыжей девушки блеснуло серебристое колечко.

— Настя, — из-за русых волос блеснула большая сережка.

Арсений рассадил девушек. Положил руки им на плечи:

— А меня зовут Дон Кихот.

Элеонора с улыбкой посмотрела на Орловского:

— А если серьезно, ребята?

— Да куда уж серьезнее, с Сервантесом шутки плохи, хотя признаюсь честно, второй том до сих пор не дочитал...

Арсений поймал глазами проходившего мимо официанта, поманил рукой. Молодой человек наклонился к столику, ожидая заказа.

— Марк, будьте добры нам... — Орловский обратился к подругам: — Так, девушки, вам вина, шампанского или коктейль какой-нибудь хотите? Как насчет белого сухого вина с черносмородиновым ликером?

— Да, вполне.

Арсений снова перевел взгляд на Громова.

— Два Кир рояля и бутылку игристого, Cava, если есть. Главное, чтобы брют.

Марк записал заказ, с интересом посмотрел на двух новых «пассажирок» Орловского и Сарафанова, сдержанно улыбнулся. Когда принесли коктейли, Николай поднял стакан с ромом:

— Предлагаю выпить за категорический императив!

Арсений хлопнул в ладоши:

— Прекрасный тост. Чур следующий — за притяжение земли, мужчин и женщин.

Подруги переглянулись со смущенной улыбкой, но актеры определенно им нравились.

Арсений чувствовал ладонью мягкое Настино тепло, отражал улыбкой ее улыбку, глазами — ее глаза; в зрачке женщины видел себя, как в маленькой прозрачной капле, заглядывал в нее — в затаившуюся глубину, поглаживал кончиком большого пальца нежный треугольник за ушком, тербил белую сережку-полумесяц. Настя гладила затылок Орловского, тихонько царапая его длинными ногтями.

Вокруг столиков рассосалось. Новые гости не приходили, заказы тоже прекратились, поэтому официанты лениво прохаживались по залу исключительно затем, чтобы обозначить свое присутствие или забрать грязную посуду. Неутомимый Сарафанов за вечер успел несколько раз сильно набраться и несколько раз протрезветь, сейчас он продолжал брать Элеонору на приступ — девушка в свою очередь больше смеялась и размахивала руками, чем танцевала, как будто беснующийся перед ней Сарафанов был транспортным самолетом, который ей нужно было направить на нужную посадочную полосу, а Николай все знай себе пульсировал и распаивался, выбрасывал ноги и руки, по-казацки мотал вихрастой головой и то склонялся к девушке, как богомол, то отчаянно прогибался назад. Со стороны казалось, что он под наркотиками, но Арсений знал — это не так. Он слишком хорошо изучил стадии опьянения Сарафана, и единственное, чего опасался сейчас, — это того, что раздухарившийся Николай перейдет в своем буйстве в русскую пляску вприсядку, а уж после этого непременно быть какому-нибудь совершеннейшему скотству и мордобою.

Арсений провел рукой по спине Насти, пробрался под водолазку, но стоило девушке начать гладить его затылок, он понял: перед ним чужая. Глаза, улыбка, ассоциации с Селеной — лишь фикция, хитросплетенная шахматная партия природы, усиленная чувственным напряжением двух молодых тел, расплаемых взаимным тяготением. Затылок Арсения — самое чувствительное его место, не столько даже эrogenная зона, сколько третье око, которое словно рентгеном просветило Настину ласку. Будь Арсений моложе, он даже предположил бы, что влюбляется, но затылок распознал: прикасается человек чуждого электричества, иной породы; выносить эти прикосновения было слишком тяжело, они больше походили на вторжение в святая святых. С минуту Орловский делал вид, что ласка ему приятна — не хотел обидеть Настю, но затем поменял положение, закинул ногу на ногу и увеличил дистанцию, хотя его собственная рука по инерции продолжала тянуться к телу чужой женщины, прошлась по застежке бюстгалтера, погладила лопатки и снова опустилась на талию. Арсений слишком хорошо знал себя: он мог провести с женщиной несколько ночей, без конца о чем-то говорить с ней, что-то обсуждать и чем-то делиться, и при этом не слышать в себе внутреннего голоса, твердившего: «чужая, уходи», особенно в тех

случаях, когда женщина умела слушать: даже самая откровенная глупость симпатичной дурочки воспринималась как мудрость, как некое родство. И чем красивее была женщина, тем сложнее было внять этому продиктованному инстинктом самосохранения выкрику. Один только чуткий затылок помогал Орловскому понять истинное положение вещей, а в остальном слепая мужская плоть вязла в женской телесности, растворялась в податливой влажности.

Арсений часто думал, почему так получается, что самые простые вещи и чувства, все самое незамысловатое и живое в нем — самое сложное? «Просто быть самим собой» — нет ничего сложнее, чем это «просто». То, что считается самым сложным в жизни, в действительности очень просто: карьера, известность, успешный бизнес — требуют огромных усилий, но путь к ним проходит по прямолинейным траекториям, использует шаблонные схемы действий, тогда как «самое простое» требует постоянной виртуозности — парения на немых высотах, беспрестанного преодоления и духовного бодрствования; необходимо ежедневно, ежечасно стряхивать с себя все навязанные обществом роли, сбивать все путы, забывать ожоги и вывихи, прощать обиды — снова и снова сбрасывать дурацкие колпаки и маски, счищать с себя черствую корку, вылущиваться, как семя, и побеждать непрекращающийся шум этих внешних помех, накрывать его собой, как гранату, и хранить в себе все самое хрупкое и святое, детское. Арсений понимал: все самое худшее, что есть в мужчине, — дело рук женщины, а все худшее, что свойственно женщине, — дело рук мужчины (вековечный «он» — не только юнговский «анимус», древнекитайский небесный «ян», индуистский «пуруша», а поток творческой и деятельной энергии, подвижный микрокосм психических и социальных моделей-схем-ролей; и ничто так не влияет на содержание этого силового потока и на избранные мужчиной формы для своего «Я», как влияют поведение-оценки-отношение окружающих девочек-девушек-женщин; школьницы, которые тянутся к «плохим мальчикам», и молодые девушки, которые тянутся к самоуверенным, сухим эгоистам, не способным любить, — сами того не ведая через свое предпочтение на всю жизнь закрепляют в большинстве мужчин эту роль — набор тех самых качеств, за которые в дальнейшем через много лет будут упрекать избранного мужчину или даже весь мужской пол; именно тщеславие и алчность женщин закрепляют за мужчинами заикленность на культе силы, агрессии-власти, богатстве; надломленность любящего, простодушно раскрытого мужского сердца и с презрением отвергнутого женщиной в прошлом, рождает в настоящем черствого эгоиста и циника, попирающего чужие чувства; даже банальная мужская самоуверенность, основанная на глупости и наглости, так часто воспринимается женщинами за силу, а потому твердеет в бессознательных мужских схемах, задавая определенные линии поведения; однако вместе с тем, в силу той же самой цепной реакции, все лучшее, что есть в женщине — закрепляет лучшее в мужчине: текучая и спонтанная «анима», динамичная материя «пракрити», земная «инь», чистая, вдохновляющая, хрупкая и материнская «она» питает-закрепляет роль художника, защитника, заботливого отца и благодарного сына — в этом смысле «он» и «она» постоянно трутся друг об друга, стачивают и заостряют, приводят к самосозиданию или саморазрушению, в этом же смысле «он» и «она» — одна плоть — плоть целокупного идеального, законченного человека, сотканного из всего лучшего, что присуще мужской и женской природе).

— Почему у тебя такие грустные глаза, Арсений? Такое ощущение, что ты сейчас не со мной, а где-то... не знаю, где, но не здесь.

Настин голос застал Орловского врасплох, он настолько отстранился от нее, что перестал ее ощущать; на секунду ему показалось, что он остался наедине с собой за закрытой дверью.

— Обеспокоен положением голодающих детей Швейцарии...

Настя даже не улыбнулась.

— Ну я серьезно...

— Я тоже.

— Чем ты занимаешься вообще? — Настя взлохматила его волосы и понюхала: пахло кедровым мылом и облепиховым маслом.

— Я гребаный актер...

Девушка усмехнулась.

— Почему гребаный? Тебе так мало платят?

Арсений хмыкнул.

— Ой, Настюша, если бы все проблемы были в деньгах, знаешь, я бы с удовольствием вернулся в свою студенческую общагу — к тараканам, пересоленной гречке, неизвестности и тому внутреннему простору, от которого у меня ехала крыша...

— Я о тебе не слышала никогда как об актере, так что неизвестность у нас уже есть... Осталось найти общагу, тараканов и пересоленную гречку.

Орловский улыбнулся и сильнее прижал к себе девушку.

*Да ты не так глупа, как мне показалось...*

Хотелось немного протрезветь — мешанина из рома, глинтвейна и коньяка брала свое. Орловский перешел на крепкий пуэр, чтобы чуть прийти в себя. Потягивал черную жидкость из фарфоровой чашки, ощущал разливающуюся внутри почти табачную горечь.

— Я люблю театр, платят так себе, конечно, но зато квартиру предоставляют... Просто не чувствую, что делаю что-то особенное — зрители приходят, слушают, плачут, смеются, хлопают и уходят — такими же, какими и были... И я не идеализирую. Сразу после спектакля выходишь в фойе специально, чтобы послушать, о чем болтают — уши вянут... Ты тут душу наизнанку три часа выворачивал, а они про вино, домино, ключ на двенадцать и шарфик под цвет браслета.

Настя приобняла Арсения, положила руку ему на плечо:

— Но не все же так — те, кто под сильным впечатлением, часто наоборот замыкаются и избегают говорить...

Орловский кивнул.

— Отчасти ты права, да, есть такое...

Запыхавшийся Николай с Элей вернулись к столику. Орловский посмотрел на обоих внимательными, немного протреззевшими от чая глазами. Эля выпила залпом бокал минеральной воды и пошла в сторону туалета, захватив с собой подругу.

— Мальчики, мы скоро вернемся.

Сарафанов сел напротив, раскинулся на диване. Часто дышал и глуповато улыбался. Через пару минут, когда отдышался, допил остатки коньяка и закрыл глаза. Судя по опущенной голове, резко уснул, но почти тут же вздрогнул и разлепил глаза, как новорожденный. Посмотрел на друга, отер свесившуюся на подбородок слюну:

— Муартхня.... э-э-э... Да что с тобой, шкура? Ау? Ты, как на собственных поминках, сидишь... а где девочки? А где минералочка моя?

Арсений проигнорировал поток вопросов.

Сарафанов зевнул и потер глаза, чуть пришел в себя, помахал рукой перед лицом друга:

— Первый, первый, как слышишь меня, прием? Але, носорог, ты оглох? Ты чего такой похоронный седня все время? Даже когда смеешься, в глазах ритуальная контора... Хватит свой чай бузгать... Лучше бы пригубил еще... маненечко.

Сарафанов поучительно выставил перед собой пьяные, неуклюжие пальцы и показал, что такое «маненечко».

— Арсюша, я как твой друг просто обязан тебя спасти... на тебя же без слез смотреть нельзя, ты как бедная Лиза в пруду... давай совсем немножечко еще выпей, а то у нас какой-то «Майн кампф» назрел в воздухе... где радость, я не пойму, где

праздник, да что такое, в самом-то деле? Ты мне что-то не договариваешь, барракуда... Прямо хоть кричи... И когда ты наконец уже запомнишь: шанкра — это сифилис, Шанкара — мыслитель, комментатор Вед и религиозный мистик. Не перепутай, одна буква — не пустяк, Арсюша...

Орловский засмеялся, а Сарафанов не без удовольствия крикнул — порадовался, что смог расшевелить друга...

Эля и Настя вернулись из туалета. Арсению казалось, что подруги сливались теперь в одну женщину, которую он слишком сильно хотел, чтобы продолжать анализировать эту многоликую, колеблющуюся сутолоку женских тел...

Через пятнадцать минут они попросили счет и расплатились с официантом.

Марк с улыбкой проводил глазами ушедших гостей. Через час ресторан опустел, оживленную суматоху сменили приглушенный свет и бормотание менеджера, стоявшего за кассой. Громов наконец сорвал фартук, скомкал и бросил в угол вонючей раздевалки, увешанной дешевыми джинсами, куртками из кожзаменителя и цветастыми футболками с пятнами на подмышках. Вдоль стен свалены грудой мужские и женские туфли, кроссовки с лохматыми шнурками и сапоги с потными стельками. Тесное помещение. Едкий душок. Брошенный бейдж с именем щелкнул об стену, из кармана упавшего на скамейку фартука вывалились блокнот и нарзанник. Марк потеряв освободившуюся от узла широкую шею и подобрал ненавистное барахло; когда наклонился, обувной душок стал еще плотнее.

Он сбросил с себя потную рубашку, подошел к заляпанному зеркалу с потрепанными картинками голых девиц; начал вращать головой и вытягивать руки к потолку, чтобы выпрямить сгорбленную спину. Суставы захрустели, косточки щелкнули. Синие глаза провалились в дряблые веки — от недосыпания разрослись черными кругами. Громов отерся влажными салфетками, несколько убрав ощущение нечистоты. Достал из рюкзака коробку с вишневым соком и сделал несколько больших глотков. Сел на стул и вытянул ноги, положив их на деревянную скамью. Несмотря на запах потных носков и обуви, он не спешил — не было сил, чтобы сразу переодеться и отправиться домой. Он приподнял ноги еще выше, подложив под них картонную коробку, чтобы кровь отлила от ноющих ступней...

Через несколько минут вышел из притихшего ресторана, захлопнутого, как шкатулка. Двинул по переходу на станцию метро.

## *Явление VII*

Прямоугольная, чуть округленная отточенность застекленных высоток отражается в пыльном зрачке, ломается в нем торопливыми разводами, захлопывается сонным веком с длинными ресницами, снова распаивается: в окне поезда мелькают вывески торговых центров, обвислые провода, пыльные деревья и трубы. Сизиф считал до ста, иногда зевал и потирал переносицу: уставшие от монитора глаза равнодушно скользили по пролетающим мимо вагона МЦК контурам столичных окраин. Он откинул голову назад, уперся затылком в упругое кресло с высокой спинкой, иногда зажмуривался. Город окольцован дорогами, повязан путами объездных путей и переулков, сдавлен теснотой и унижен вездесущим присмотром — убудочными глазками камер, многотысячным племенем электронных соглядатаев, которые тарашатся изо всех щелей, как из замочных скважин.

Сизиф недовольно смотрит в окно поезда наземной линии, иногда его равнодушие рассеивается, он хмурится, резко цепляется взглядом, как будто решил выгравировать глазами свое имя в этой припорошенной пылью текучей реальности — всматривается, словно хочет загипнотизировать себя длинными фигурами рафинированных высоток

с благополучными двориками, статными аллеями, стройными улочками, вымытыми поутру оранжевыми тракторишками, начисто выметенными руками киргизов и узбеков в пестрых жилетах, детскими площадками, похожими на разбросанные кубики, нескончаемыми торговыми центрами, которые, кажется, способны уместить в своих бездонных пространствах всю Москву с ее многочисленными жителями и разложить людей по полкам, как гастрономическую утварь на магазинных полках.

В прямоугольнике вагонного окна проносились кирпичи, провода, застенки, мосты и стальные перекладины — рабочие зоны с бетонными ограждениями и массивными трубами, придорожная машинерия; костлявые подъемные краны, размахивая рукавами, раздавали воздуху пощечины, а толстяки-экскаваторы бороздили носом землю, как кабанчики, роющиеся в песке в поисках желудей, и бряцали копытцами. Будки, мастерские, жилые вагончики для строителей, кабели, сложенные в стопки плиты — скомканное и брошенное вдоль рельс барахло города, его нестираное исподнее, развешенное на бельевых веревках вдоль линии МЦК, вдоль шоссе и рельсовых путей электричек. Пары и выхлопы поднимались над истомленным городом, отравляя воздух — сукровичный, пахучий, кислый.

Вязкая, болотистая столица — тряслась, как желе, вздрагивала, не отпускала. Сизиф покачивался в вагоне и все смотрел в заляпанное окно. Подъезжали. *Кажется, моя станция.* Пока стоял у поручня возле вагонных дверей, ждал остановки, зачем-то оглянулся на пассажиров: его внимание привлекли два приятеля, которые очень увлеченно, почти истерически обсуждали что-то — жались друг к другу, как налимь — сопели, жестикулировали — один толстячок-кругляш с бомбошкой и обручальным кольцом все почесывал-почесывал между ног, а второй — тоненький — тоже женатый, все потрепывал-потрепывал себя за нижнюю губу (доверительно так беседовали, один все почесывает, другой все потрепывает, смотрят какие-то видяшки на телефоне).

С противоположной стороны сидели три сноба: громко разговаривали, напоминали просоляренных бодибилдеров перед зеркалом, втирающих в свою мускулатуру блестящее масло — правда, у этих курносых блестели только прямоугольные очки; пышные шарфы надменно свисали, как анаконды, а глаза брезгливо скользили по ничем не примечательному лицу и слишком простой, незамысловатой одежде Сизифа. Двигали руками, будто дирижировали оркестром. Сизиф всегда неприятно поживался, когда встречал тех, кто много читает не потому, что любит читать или ищет знания, а потому что самоутверждается, хочет соответствовать или заткнуть за пояс. До слуха доносилось:

— Вопрос о существовании формального понятия бессмыслен. Потому что ни одно предложение не может ответить на такой вопрос. Логические формы нечисленны...

Подле снобов сидела уставшая женщина с маленькой дочкой: девочка ерзала на материнских коленях, размахивала лохматой куклой, потом резко оборвала ее полет, положила на сиденье и заглянула матери в лицо:

— Мама, я какать хочу!

Вагон дернулся, остановился, подмигнул зеленой кнопкой. Сизиф нажал цветной кругляш, дверь раскрылась; хотел было выйти, но навстречу пер нервный пешеход, которому приспичило стать пассажиром, — шел напролом, штурмовал вагон, как Ноев ковчег, буйно работал локтями, торопился войти первым так лихо, так самозабвенно, точно от этого зависела его драгоценнейшая жизнь.

Сизиф пропустил нервного толстячка. Шагнул было на платформу, но в последний момент понял, что это не его станция и вернулся обратно в вагон. За толстяком вошел парень, похожий на гопника, пробасил в телефонную трубку во всеуслышание:

— Я те отвечаю, штукарика токо не хватает. После пятнадцатого верну, вот сукой буду... Да она не дает на халяву, не тупи, ты типа не знаешь, первый день живе-о-ошь, ага такой...



— Выражение формального свойства есть черта определенного символа...

Гопник развалился, заняв два кресла, и выставил ноги в общий проход. Продолжал что-то доказывать мобильному телефону. Тут же с потоком новых пассажиров появилась приземистая студентка, резвая, как перекасти-поле, — типичная такая смазливость, косуха из кожаменителя, тертые джинсы, зимние угги с пошлыми блестками и следами клея. Девушка плюхнулась в кресло, достала зеркальце и помаду. Подвела губы. В ушах торчат белые наушники-затычки. Судя по выражению лица, студентка с кем-то разговаривала, долго слушала, а потом наконец ответила:

— Женечка, я тебя очень люблю. Больше жизни. Ты соскучился?

Сизиф все ехал по кольцу, все смотрел в окно.

Он был очень озабочен. Лицо его выражало напряжение.

— ...Предложение есть образ действительности. Свойством утверждения является то, что оно может пониматься как двойное отрицание...

Сизиф понимал: нужно торопиться, в сутках только двадцать четыре часа, а столько еще нужно успеть за сегодня. И смену отработать в дурацком офисе: пялиться в монитор до головной боли, до рези в глазах, штудировать списки и названивать-названивать по телефону, предлагать до тошноты, до помешательства — дистанционную программу образования для сотрудников строительных фирм: прорабы, инженеры, электрики, монтажники-высотники, пьяные каменщики и в дупель ужратые плотники. *Квалификация-переквалификация, аттестация, обучение, стандартизация и сертификация ISO, вступление в СРО... страшные слова. СамоРегулируемая Организация — СРО. Стандартизация. Лицензирование. И снова СРО.*

Если часто произносить это слово вслух, вот так вот — СРО, СРО, СРО, СРО, СРО, СРО, СРО, СРО, СРО — то по звучанию получится то ли «рос», то ли «обосраться», то ли еще что-то непонятное.

Если всю эту формалистскую дребедень, которую плодит его фирма — и сотни, тысячи похожих московских фирм, — собрать вдруг воедино, сложить всю эту бумажную чепуху в стопу, то можно подняться на ее вершину и — нет, не сигануть даже вниз и не покончить с собой — там, там на вершине этой барахольной стопочки наступит кислородное голодание, понос, нервное расстройство, перенасыщение ультрафиолетом и черт его знает, что еще такое наступит из-за сквозняка озоновых дыр и разных прочих космических прелестей.

— Субъект не принадлежит миру, он есть граница мира...

Сизиф все ехал по кольцу, все смотрел в окно. Он был очень озабочен. Лицо выражало напряжение. Сизиф понимал: нужно торопиться, в сутках только двадцать четыре часа.

— Денисочка, я тебя очень люблю. Больше жизни. Ты соскучился?

*Так, потом забрать пиджак из химчистки, купить продукты, зубную пасту — в аптеку зайти, — порошок стиральный тоже закончился, салфетки, так... мизинчиковые батарейки в пульт от телевизора и в мышку, ботинки забрать из мастерской — опять развалились... что за скоты? Делают дерьмо на год, потом все в труху разлетается, как будто я паломником в Мекку хожу пешком раз в две недели....*

— Я те отвечаю, штукарика токо не хватает. После пятнадцатого верну, вот сукой буду...

Сизиф тяжело вздохнул и подпер рукой щеку. Вот в окне промелькнули Измайловский кремль, высоколобые гостиницы: «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма». Утро чуть прояснилось, небо стало прозрачнее. Высотки гостиниц напомнили почему-то Сизифу надгробные плиты. На «Измайлово» в вагон вошли новые пассажиры: где-то с десяток — такие же сонные и обесцвеченные, как сам Сизиф. Так же непримечательно одеты, серо, среднестатистически. Пассажиры зевали широко, скулили при этом с отчаянным скрипом — так задыхаются рыбы, так раскрывают рты застреленные животные.

Еще купить билеты в театр — сто лет не был нигде, все только в транспорте да магазинах... Через интернет покупать не люблю — мне нравится прийти в фойе, хлопок деревянной двери, высокие окна, рядом какое-нибудь уютное кафе... постоять, посмотреть на цветные афиши, выбрать то, что понравилось, просунуть деньги в маленькое окошко, заглянуть в глаза интеллигентному кассиру... хотя курицы тоже в кассах попадают иногда... да и хочется понаблюдать за лицами тех, кто пришел на сегодняшний спектакль — кто чем живет, кто чем думает: всегда встречаются по-своему интересные бывают... Осточертела офисная возня... Ублюдочные рожки коллег-имбецилов... Хоть иногда оторваться от этого свинарника... Начальник — белобрысый придурок, похож на подростка — брюки смешно так носит, высоко задирает — белые носки видны все время... А иногда — в брачный период, наверное, — красные надевает, под цвет трусов, может быть, не знаю. Словом, оригинал. Все бегаёт, как полоумный, скачет, как недотраханый, вечно врывается к нам в менеджерский офис, пытается поймать с полчиным — застукать за нерабочими разговорами, увидеть тех, кто трубку телефонную не держит возле уха или в монитор не смотрит... умудряется цапать даже тех, кто в наушниках сидит с микрофоном... Юркий такой, вездесущий: на маленький песий член похож... Нет, однозначно надо сходить в театр... просто определено.

Тут Сизиф откинулся на спинку сиденья, ударил ладонью по колену и нервно шаркнул ногой: вспомнил — нужно зайти в банк, взять выписку по последним операциям с картой — на днях хотел вернуть долг приятелю, но вместо того чтобы перевести сумму на карту, отправил ее на баланс его телефона. И вот сейчас надо деньги оттуда выскребать, писать заявление в банк, потом идти в телефонную компанию, обивать пороги там.

Еще сегодня за квартиру нужно заплатить... вылетело из головы, все-таки придется покупать билет по интернету, обойдемся без чашки кофе в уютном ресторанчике напротив, без случайного знакомства с какой-нибудь задумавшейся у афиши театралкой, без случайного разговора, нарастающего накала-напора, без выпитого тут рядом, по случаю, бокала, без игры глазами, недосказанности и перекрещенных пальцев, без истомы закипающей страсти, без вдохновения, без помешательства на красивых бедрах, коленях, руках, плечах, изгибе спины... короче говоря, интернет — великая вещь! Интернет — это очень удобно... интернет — это двадцать первый век, это множество новых возможностей и информационных горизонтов, интернет — это прекрасно: быстро взял и купил билет, просто замечательно, или захотел послушать нового исполнителя — тык-мык, и на тебе, послушал, пиццу можно заказать или роллы, кухонный комбайн, свитер, фарфоровый чайник или проститутку, потом венеролога на дом тоже можно анонимно (с чемоданчиком, как у Айболита)... скоро, наверное, священники быстрого реагирования появятся — тоже по интернету — отпеть там, если срочно кого, или венчать, крестить, допустим, не знаю... или после шлюхи пройти обряд конфирмации — это первое дело вообще... образование даже вот получаем дистанционно, по скайпу репетиторы и вообще все на свете... могу из дома не выходить, по интернету всю информацию получать и даже работать, не выходя из-за кухонного стола, да что там, можно на толчке сидеть и объявить войну Соединенным Штатам Америки, я не знаю, или на том же самом толчке в процессе, по ходу, спасти мир от какой-нибудь экологической катастрофы, защищать китайских тигров — их там штук двадцать осталось уже, по-моему, ну или хотя бы обнародовать свои политические убеждения через пост в соцсетях... Красота же, ну.

Сизиф шмыгнул носом и почесал бровь. В прямоугольном окне все знай себе мельтешили дома, столбы, магазины, какие-то понурые кирпичные будки и внушительные высотки с подсветкой.

На очередной станции в вагон завалилось особенно много народу. Запахло свежеепеченными булочками.

«Ростокино», наверное, проезжаем, тут вечно что-то выпекают.

Сизиф часто отключал внимание и не слушал, как объявляют остановки. Достал

из кармана сотовый телефон, зашел на сайты Школы драматического искусства, Практики, Театра.doc, Мастерской Петра Фоменко и Студии театрального искусства — перебирал глазами репертуары. Наконец нашел заинтересовавший его спектакль и купил билет. Когда операция прошла, на минуту взгрустнулось оттого, что в очередной раз покупает только один билет — от этого беспощадного постоянства веяло чем-то крайне нездоровым: поначалу Сизиф не обращал на это внимания — все-таки студенческая пора, обилие разных интрижек и флирта давали о себе знать, но даже тогда ходил по театрам всегда один. В семнадцать лет одинокие билеты казались естественными, в двадцать пять — уже настораживали, а к тридцати шести и того вовсе набили оскомину, все навязчивее превращаясь в тревожный звоночек. Не то чтобы он слишком устал от этой свободы и маминых тирад-упреков, связанных с отсутствием внуков, — нет — просто Сизифу самому уже захотелось узнать — каково это стать отцом, взять дитя на руки и такое все прочее.

*Как говорится: плоть от плоти, кровь от крови? Да, радость отцовства, обволакивающее тепло семейного очага, уверенность в завтрашнем дне: семья — это определенная форма бессмертия, потому что...*

Электронный голос оборвал сокровенные мысли, объявив, что поезд прибыл на станцию «Владыкино». Сизиф особенно пристально вгляделся в окно: ему вспомнилось, как месяц назад на «Владыкино» какой-то нехристь со спущенными штанами облевал всю платформу, а когда подросла охрана — умудрился измазать дерьмом двух рослых мужчин в сине-красной форме. Несколько ошметков долетело даже до стенок вагона и окон, так что шокированные пассажиры косились взглядом на жидкие потеки испражнений, прилипших к застекленной границе их личного пространства, резко вставали и спешно переходили в другой конец поезда с видом оскорбленных парламентаров.

*Да, радость отцовства... определенная форма бессмертия, потому что,* — продолжил было Сизиф, но тут в вагон вошла высокая симпатичная девушка, на которую он сразу же обратил внимание. Особенно Сизифу понравились ее вдумчивые глаза, сосредоточенные на чем-то в себе самой, — Сизиф любил такие лица — лица людей, которые страдали, лица людей, которым есть что рассказать. Особенно выразительно эта печать сочеталась с природной красотой, будь то мужская или женская. Статная девушка с длинными волосами села на противоположной стороне вагона, так что Сизиф мог видеть ее не только в пол-оборота, но и боковым зрением. Незнакомка потирала красные руки: было видно, что замерзла. Помимо необычной красоты — чуть с горчинкой — девушка выделялась из массы пассажиров подчеркнуто стильной одеждой (какой-то размашистой, как бы крылатой курткой да и редкой, скорее всего, на заказ пошитой обувью) — крайне непривычной для общего потока МЦК, но все это он заметил уже между прочим, постольку-поскольку: даже если бы девушка сидела в задрюпанной куртке с рынка и безвкусовых кроссовках, Сизиф все равно зацепился бы за нее взглядом. Впрочем, он был уверен: красивые люди обладают врожденным чутьем прекрасного — обостренным эстетическим восприятием, какой-то прочно засевшей в них гармонией, поэтому ему редко встречались плохо одетые, но красивые люди. Сам Сизиф очень комплексовал из-за своей внешности: он весь был какой-то покаты́й и приплюснутый, почти бесформенный. Обесцвеченное, слишком стандартное и ничем не примечательное лицо, невысокий рост и пивное брюшко, подпитываемое сидячим образом жизни офисного работника, — собственный вид очень раздражал его, а на спортзал и пробежки элементарно не оставалось ни сил, ни времени. Сизифа настолько загнал его осатаневший график, что иногда попросту казалось — единственное место, где он может прислушаться к собственным мыслям и заглянуть в себя — это МЦК, его убежище на то время, пока едет на работу или с работы. Наверное, именно поэтому его восприятие красоты было особенно обостренным.

Несколько минут Сизиф размышлял, какой бы найти предлог для знакомства,

пока наконец не догадался. Он встал, сделал несколько шагов и сел рядом с вопросительно посмотревшей на него девушкой.

— У вас замерзли руки, вот, возьмите...

Сизиф протянул ей свои перчатки из оленьей кожи. Девушка испытующе прощупала взглядом протянутую руку, перчатки, перевела глаза в глаза, затем улыбнулась — так резко, как будто что-то разглядела в зрачках Сизифа и успокоилась: так улыбаются милovidным животным или родственникам.

Взяла перчатки, натянула, выставила руки ладонями вверх, развела пальцы, уютно скрипнув кожей, по-домашнему, как теплым диваном.

— Я тоже люблю кожу, сегодня просто забыла свои... Благодарю за внимательность... хотя это выглядит как попытка найти благовидный предлог для знакомства.

— А даже если это так? У вас и руки теперь в тепле, а на двоих нам повод присмотреться друг к другу...

Красивое лицо с горчинкой потеплело. Сизиф поднял глаза на девушку:

— Вы на работу?

— Мама, я какать хочу!

— Нет, к счастью, у меня сегодня выходной. Просто давно хотела прокатиться по кольцу.

— Нарезаете круги?

— Да нет, думаю, одного хватит, просто хочется посмотреть на виды из окна. У «Москва-сити», думаю, красиво. Особенно вечером. А вы?

— Я отвечаю, штукарика токо не хватает. Прямо жуть прижало, палку кинуть хочу срочно. После пятнадцатого верну, вот сухой буду...

— Я на работу. К несчастью... Иногда мне кажется, что я все время еду на работу — всю жизнь то есть. Просто не выходя из вагона: все еду-еду, как в страшном сне... как какой-нибудь землемер в романе Кафки... ощущение, что по спирали бреду впотьмах, понимаете? И не выбраться никак.

— Я думаю, в Москве многие с похожим чувством живут. Просто кто-то осознает это, а кто-то прячется, глаза закрывает.

— Вы правы. Именно поэтому ни за какие деньги не сунулся бы на МЦК в свой выходной — так мне здесь каждый вид осточертел... Не жалко своего воздуха на эту сутолоку?

— Нет, нисколько. Хотя бы потому, что я первый раз на МЦК. Для меня сейчас здесь нет сутолоки — у меня мини-экскурсия, в определенном смысле... я даже какие-то впечатления черпаю... Просто вы каждый день ездите здесь, еще бы... а меня метро измотало — надоело до коллик... Просто эту дорогу давно открыли, а я все никак не попадала на нее... Так что мне здесь даже нравится...И панорамы, и само вращение вокруг такого большого города. Видите, как я улыбаюсь?

— Я надеялся, что это мое присутствие на вас так повлияло...

— Ишь чего, ага, перчатками растрогали, да?.. Шучу, конечно. Вы крайне недооцениваете эти виды из окна. Красота простых вещей, понимаете? Это же очень важно. Так что при умелом подходе даже общественный транспорт может доставлять удовольствие.

— Надеюсь, вы не каждый свой выходной так разнообразите с общественным транспортом?

— Что вы, сплюньте... Я ищу прекрасное в разных местах.

— Как насчет того, чтобы в следующий ваш выходной сходить куда-нибудь вместе это прекрасное искать? Кто знает, может ваши руки не случайно сегодня замерзли, да и я тут с перчатками тоже навряд... гуманитарного груза.

— Кондратий, я тебя очень люблю. Больше жизни. Ты соскучился?

— Вы не похожи на груз. Тем более гуманитарный... Давайте для начала хоть познакомимся, что ли... Меня Лена зовут, а тебя?

— Меня Сизиф.

— Да ладно! Ну тогда меня Жанна д'Арк.

— Да нет, я без шуток говорю, серьезно, Сизифом родители назвали. Я знаю, что это странно... если хочешь могу паспорт показать.

— Брось, не нужно... Я не патрульно-постовая служба и не таможенник.

В прямоугольном окне все знай себе мельтешили дома, столбы, магазины, какие-то понурые кирпичные будки и внушительные высотки с подсветкой. На станции «Панфиловская» Сизифу вдруг вспомнилось: в один погожий весенний вечер, в очередной раз возвращаясь с работы, он увидел, как на этой самой платформе три сотрудника правоохранительных органов молотят дубинками какого-то зарвавшегося маргинала, а на следующее утро, когда Сизиф вновь мчался на смену в свой опостылевший офис, проезжая приметную остановку, он пытался разглядеть следы вчерашней потасовки, но ничего не было — разве что на одной из скамеек совокуплялись коты.

— Ну так что, когда у тебя там следующий свободный полет намечается?

— Давай телефонами обменяемся. У меня может график переиграться в любой момент. Я сама на себя работаю, клиенты часто сдвигаются по времени.

— Можно в океанариум пойти, любишь рыб, тюленей, дельфинов, касаток и все такое?..

— Я уж думала, ты в кино предложишь... по мне, нет ничего глупее, чем на первую встречу, когда совсем еще человека не знаешь, идти на фильм какой-нибудь, сидеть молча, как идиоты. А океанариум — это интересно, да, давай... А чем ты занимаешься, кстати?

— Ой лучше не спрашивай. Тоска зеленая. Туши свет. Я решил на днях, что заявление подам, буду уходить. Тупею просто там. Нашел когда-то времянку, знаешь, и застрял, блин. Опомниться не успел, уже год пролетел. А так я долго в торговле мотался, а учился вообще на юриста. Спрашивается, на кой мне диплом этот?

— Ну да, юристов и экономистов много, да и вообще в Москве давно уже вышка ничего не значит.

— Вот-вот, на дядю вкалывать, хуже нет. Доят-доят, как корову, всю жизнь. Пыжился-пыжился, туда-сюда съездил, шмотки, влюбленности, друзья-не друзья, интернетная белиберда, тусовки, магазины, оглянулся — БАЦ — тебе уже тридцать шесть стукнуло — еще немного такой возни и все: *поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны*. И вспомнить толком нечего...

— Ну да, старая истина, как белки в колесе носимся. Чехарда какая-то, а не жизнь.

— Каждый сам выбирает... Если мозгов нет, пусть мотаются... Людям не хватает осознанности просто — большая часть пустышки, еще и ленивы, как пачка пельменей.

— ...Границы моего языка означают границы моего мира. Числовой ряд упорядочен не внешним, а внутренним отношением...

— Да, есть такое... Ты телефон записала мой, Лен? Дай проверю. Последняя цифра семь, а не восемь, исправь.

— Теперь правильно?

— Аристарх, я тебя очень люблю. Больше жизни. Ты соскучился?

— Ага, теперь правильно... Ты не представляешь, как в лом на работу тащиться, но надо, а то у меня и так с начальством напряженно все... Я опаздываю постоянно, плюс два пропуска без уважительной причины... сказали, что еще раз и уволят. Пока новое место не нашел, надо держаться в их паршивых рамках.

— Платят-то хоть нормально?

— В зависимости от продаж, в хороший месяц может пятьдесят выйти, но это редко, обычно в районе сорока пяти, а иногда вообще на тридцать скатываешься, и туши свет, приходится перезанимать. Лет десять назад, когда такие фирмы, как наша, только появляться начали, топовые менеджеры вообще по двести-триста косарей

поднимали, а сейчас конкуренция большая — таких шарашек, по-моему, уже больше, чем строительных фирм. Поэтому, когда звонишь, тебя обычно сразу на мужскую анатомию посылают, и понимаешь, что за сегодняшний день ты уже десятый или сотый, кто им звонит и то же самое предлагает ... Вот и чувствуешь себя, как в проруби... Нет, завтра же вакансии начну новые искать.

— Да, ты, значит, на телефоне что ли сидишь? Call-центр типа?

— Ну, предлагаю услуги нашей шарашки разным предприятиям — дистанционное образование, разные сертификаты, переквалификацию, стандарты международные, чтобы клиенты могли козырять на своих сайтах красивыми бумажками... По факту, мы продаем картинки для интернет-ресурсов или упаковок продукции... Пакеты макулатуры, короче, продаем — что-то навроде рекламы, какие-то фантики, которые требует закон от предприятий ... В общем, это своя кухня. Голимая формальность, аж тошно, как подумаю, сколько своей жизни слил, сколько сил и времени ухлопал на все это.

— Да, не густо выходит, конечно, что там ловить... А куда нацелен? В какой сфере себя видишь?

— Не дает она на хаяву, не тупи, ты типа не знаешь...

— Да куда угодно, только подальше от всех этих телефонных продаж...

— Понимаю тебя. Несколько лет тоже моталась по офисам — кроме корпоративов и приколов в курилке даже вспомнить нечего, все остальное серой краской залито, как в бетономешалке. Кружишься, кружишься, кружишься — и вся морда в цементе.

— Вот, вот, я себя часто именно в бетономешалке и ощущаю...

Электронный голос объявил станцию: «Площадь Гагарина». Сизифу вспомнилось, что как-то летом здесь к нему привязалась совершенно безумная дама бальзаковского возраста, конского телосложения и с довольно густой бородкой. Сначала задавала обескураживающие вопросы — лишь бы просто спросить и так завязать разговор, но получив одни только односложные ответы, начала в открытую кланчить номер телефона, предлагая нежную переписку и оральный секс.

— Нужно заниматься любимым делом. Или по крайней мере заниматься тем, что интересно. Ты молодец, что начал думать об уходе. Надо быть просто убогим, чтобы всю свою жизнь так слить. Чисто зомби... Я сейчас пытаюсь бизнес сделать — интернет-магазин стильной детской одежды. Когда по детской нишу пробую нормально, попробую на взрослый рынок пробиться, дизайнеров у меня много девочек знакомых, кто шьет интересные шмотки. Только распиарить все это, и в путь.

— Интересная идея. Опыт есть уже в этой сфере?

— Опыта не особо, но тут же главное хорошая идея и готовность вкалывать, так что не вижу причин для робости... Магазин свой сделать сложно — аренда, налоги и так далее. А с интернетом все проще. Проблема только в клиентах. Но есть специальные форумы, совместные покупки, союзы покупателей и прочая белиберда. Там, правда, бизнесменов вроде меня — как собак нерезаных, но почему бы не попробовать, особенно если учесть, что начальные вложения копеечные. Руку никто не откусит, я думаю.

— Да, ты права, поддерживаю тебя... Лена — великий бизнесмен.

— Ха-ха, но не говори вообще.

— У тебя губы очень чувственные, ты знаешь? А еще, когда улыбаешься, ямочки такие милые, как у школьницы. Мне нравится в тебе сочетание чего-то девического и порочного. Демоническое что-то в тебе есть.

— Ой, ну все, засмушал... Сам ты демонический. Заканчивай со своими пикаперскими подкатами... «Чувственные губы» — это же жуть...

— Ничего пикаперского тут нет, просто ты мне понравилась. Серьезно.

— Ты тоже обаятельный. Буду ждать океанариум твой этот с обезьянами, то есть с дельфинами...

— А потом ко мне поедем вино пить...

— Ишь че-ишь че, ха, хитрый жук. Сразу вино-домино, ага, ему. Закатай губу.

— Библиотеку тебе свою покажу...

— Ха-а-а! Теперь это так называется? Библиотеку показать? Оригинально.

— Вот не надо, не издевайся, я без намеков... просто ты такая роскошная, что, видимо, голову теряю. Аппетит приходит во время еды, не зря же говорят. Твоя красота на меня развращающе действует, наверное.

— Да, ты пошел по наклонной, Сизиф!

— Не, я просто езжу по кругу.

— Это то же самое.

— ...Философия ограничивает спорную область естествознания. Она должна ставить границу мыслимому и тем самым немислимому. Она означает то, что не может быть сказано, ясно показывая то, что может быть сказано...

— А можно я тебя в щечку поцелую?

— Конечно, нет... Тем, кто спрашивает разрешения, вообще не светит, понял?

— Тогда я без спроса...

— Иннокентий Братиславович, я вас очень люблю. Больше жизни. Вы соскучились?

— Что ты читаешь, Лена? У тебя из сумки книга торчит.

— Да так, мотивационная тема, из разряда «10 заповедей успеха», ну и по созданию своего бизнеса тоже психологическая программа — формирование правильного настроения. Я вообще коуч-тренером работаю уже несколько лет, так что у меня вся квартира завалена подобной литературой.

— И что, многих раскочегорила на успех и самореализацию?

— Конечно, я получила диплом эриксоновского университета. Международный, на секундочку. И сертификат.

— Сертификат? Я вздрагиваю, когда слышу это слово... Это мы, наверное, вам лицензию даем. Сертификаты международные, лицензии, ISO — вот этим всем как раз и занимается наша шарашка. Хоть бабе Нюре, если денежки заплатит, на ее самогонный аппарат вышлем лицензию.

— При чем тут твоя шарашка?! У университета, по-моему, с Канадой все повязано. Это серьезная организация.

— Да по-любому мы вас снабжаем, или такая же фирма, только за бугром... Да ладно, это неважно, ты лучше скажи, чему вас там учили: правильные вопросы-ответы задавать? Искать выходы или, ну я не знаю, советовать наилучшие пути-решения какие-то?

— Нет, ни в коем случае. В эриксоновском коучинге нет понятия «помочь». Я могу быть поддержкой и спутником в ходе сессии, но никто из моих клиентов не настолько немощен, чтобы ему что-то разжевывать или подгалкивать куда-то. Моя задача организовать все так, чтобы клиент помогал себе сам... И советов коуч тоже не дает. Советы со стороны никогда не работают, поэтому лучшее, что я могу сделать, — просто удалить из жизни своих клиентов тот личный опыт и прежде всего убеждения, которые навязывают ему искаженные интерпретации. То есть я элементарно помогаю людям очиститься, став их отражением, как бы зеркалом. Это самый лучший способ расширить сознание. В общем, я помогаю людям кайфовать от жизни, испытывать к ней страсть, влечение, простое человеческое наслаждение.

— Так я не понял, а нафига тебе интернет-магазин детской одежды?

— Слушай, Сизиф, ты меня пугаешь такими вопросами, с виду вроде адекватный парень... Денег, по-моему, никогда не бывает много, тебе не кажется так?

— Да, действительно, есть такой момент... Ну и что, нормальный доход получается со всех этих очищений клиентов, отражений там и удаления убеждений?

— Когда как. Иногда под сотню, иногда тоже скатывается на минимум вообще.

— Когда всех слишком очистишь и уже ничего не отражается?

— Ну ты огрубляешь, конечно... А вообще, я просто стараюсь всегда держать среди своих клиентов несколько особенно отмороженных неадекватов, ну прям непробиваемых, понимаешь? Они у меня как бы на вечной сессии. Это как свой личный маленький коровник, где я главная доярка джиу-джитсу...

— Почему «джиу-джитсу»?

— Не знаю, просто звучит прикольно: «доярка джиу-джитсу»... Как-то воинственно и по-восточному... Само собой, я им скидки делаю — чем больше таких чурочек, тем, понятно дело, стабильнее моя база финансовая. Ну а те, кто поживе мозжечком, они схватывают быстренько главное, и у нас сессии заканчиваются... В общем, в каждой работе есть свои недостатки, сам понимаешь.

— Слушай, Лен, давай откровенно, все это пахнет каким-то новомодным коктейлем из оскопленного буддизма дзен, гедонизма и потребительской морали, повязанной на культе успеха. Только честно, ну?

— Ой, Сизиф, не будь занудой. Тебя понесло куда-то, по-моему...

— Ладно, я не настаиваю. И давно ты в этой теме?

— Да лет пять уже. Поэтому и начала с интернет-магазином сейчас решать. Хочется обновления какого-то. А то поднадоело уже чуток, не люблю застоев в жизни.

— А до этого чем занималась?

— Мы проводили курсы женского раскрепощения. Умение чувствовать свое тело, управлять своей женской энергией, техника глубокого минета и все такое...

— Вау! Звучит многообещающе... то есть ты ас на глубине?

— Да ну тебя...

— Этому тоже в эриксоновском университете вас учили? Глубокий минет, имею в виду.

— Нет, это мы сами. И учились, и организовывали. Все сами. Своим трудом. Университет потом уже был, говорю же.

— Тяжело самим-то, с чистого листа, получается, на ровном месте...

— Еще бы не тяжело, конечно, тяжело. Дело, тем более, ответственное...

— А я помню, как-то видел в интернете видеоролик с похожих курсов. Сидят телки вокруг стола, перед каждой — резиновый член. Одна главная, харизматичная такая телочка — прям ни дать, ни взять, alma mater, которая собаку съела в своем деле, — этаким учительным матриархом восседает с самым большим членом посередине, сначала она сосет — наглядно и многоопытно, уверенно прихлебывая, — потом другие глотать начинают, повторяют ее движения... чуть ли не синхронно уплетают... Я еще тогда подумал, помню, что у вас там, наверное, какая-то иерархия есть... ну как в каратэ, знаешь, десятый дан, черный пояс, международный класс, красный пояс ну и так далее, короче.

— Да нет, что ты, какая иерархия, каждая разрабатывает по своим возможностям и амбициям. Это исключительно дело вкуса... На самом деле, я иногда с тоской вспоминаю о том периоде своей жизни. Во-первых, было интереснее работать, чем с этим коучингом дурацким. Ну как-то сексуальнее, а во-вторых, по деньгам больше получалось... особенно поначалу, когда это в России только все стало появляться, мы вообще бешеные бабки на этом зарабатывали...

— Да, могу себе представить, как это было выгодно. Вы, наверное, только на аренду тратились помещения и на резиновые члены? Еще бы не выгодно. Ну и печенки какие-нибудь после курсов... Какие-то средства оральные для ополаскивания, крем для губ там, я не знаю, лосьончик Nivea...



— Да, еще на буклеты разные, на рекламу и все... Но это окупалось быстро. Не говоря уже о том, что некоторые со своими членами приходили. Сам понимаешь, дело деликатное, мало ли кто перед тобой сосал — мы же справки не требовали от своих клиенток, по мне, это было бы слишком бестактным... В любом случае, резиновый член — вещь интимная, не общественная баня какая-нибудь, сам понимаешь... И несмотря на то что они обрабатывались специальным моющим раствором, все равно неприятно после какой-то левой сосать резину, согласишься?

— Конечно, понимаю. Это определенно неприятно. Кто бы спорил...

В прямоугольном окне все знай себе мельтешили дома, столбы, магазины, какие-то понурые кирпичные будки и внушительные высотки с подсветкой.

На «Измайлово» в вагон вошли новые пассажиры: где-то с десяток — такие же сонные и обесцвеченные, как сам Сизиф. Так же непримечательно одеты, серо, среднестатистически. Пассажиры зевали широко, скулили при этом с отчаянным скрипом — так задыхаются рыбы, так раскрывают рты застреленные животные.

— На самом деле, Лен, я не понимаю, что ты вообще во мне нашла? Сидишь, слушаешь мои вопросы и шутки тупые, терпишь мои подкаты... ты такая продвинутая вся: коучинг, эриксоновский университет, детская одежда, резиновые члены, а я еще ничего в этой жизни не добился... сливаю себя в вонючем call-центре...

— Ой, да ладно тебе, не прибеждайся. Во-первых, я же вижу по тебе, что в тебе огонек есть... в глазах он, а женщину в этом смысле не проведешь. Мы особыми точками такие вещи чувствуем. А во-вторых, ты сам сказал, что завтра начнешь новое место искать и уволишься из своего клоповника... ты знаешь, вокруг меня вращается огромное количество ярких, интересных мужчин, но это все напускное, одна мишура в большинстве случаев. Все такие роскошные, прям не подойдешь, а начнешь узнавать и понимаешь, что такое дерьмище вообще... а в тебе что-то цельное есть. Не знаю, что-то настоящее, непосредственное.

— Ты мне тоже сразу понравилась. Прям приковало к тебе. Бывает же такое... А может быть, это судьба? Ты веришь в любовь с первого взгляда?

— Ну, конечно, верю, дурашка. Я же женщина — а даже если женщина тебе скажет когда-нибудь, что не верит в любовь, знай, что она лукавит или шифрует болячки свои прошлые, опустошенность...

— Вообще очень сложно найти своего человека — с близкими представлениями, вкусами... какими-то базисами, не знаю. Я, например, считаю, что счастливой семья может быть лишь в том случае, если оба супруга идут одним общим путем — путем постоянного развития... а для этого, собственно, в первую очередь нужно найти того, кто ставит себе похожие задачи... и если муж и жена нацелены только на накопление капитала и рождение детей — то далеко такая семья не уедет.

— Да, ты прав, Сизиф. Хотя финансовая свобода очень важна...

— Ну само собой, я говорю прежде всего об акцентах. Деньги никто не отменял.

— Ну да, тогда я похожим образом думаю... А что касается моих горизонтов, то лично я хочу прежде всего постоянно находиться в гармонии с собой, а это очень сложно, на самом деле...

— В точку вообще, Лен. Однозначно. Еще к этому очень важно полную самореализованность впридачу...

— Ага, особенно, если эту же самую пропорцию суметь передать своим детям...

— Да, да, да... это тоже очень важно...

— Слушай, Сизиф, по-моему, мы очень похожим образом смотрим на отношения...

— Мне тоже так кажется.

На очередной станции в вагон завалилось особенно много народу. Запахло свежеспеченными булочками.

*«Ростокино», наверное, проезжаем, тут вечно что-то выпекают.*

### Явление VIII

Сизиф все ехал по кольцу, все смотрел в окно. Он был очень озабочен. Лицо выражало напряжение. В прямоугольном окне все знай себе мельтешили дома, столбы, магазины, какие-то понурые кирпичные будки и внушительные высотки с подсветкой. Внимание Сизифа привлекли два приятеля, которые что-то очень увлеченно, почти истерически обсуждали — жались друг к другу, как налимь — сопели, жестикулировали, — один толстячок-кругляш с бомбошкой и обручальным кольцом все почесывал-почесывал между ног, а второй — тоненький — тоже женатый, все потрепывал-потрепывал себя за нижнюю губу. Сизиф перевел взгляд на Лену, которая размахивала перед собой руками и что-то очень взволнованно доказывала.

— Сизиф, я устала от этой фигни! Сколько можно тебе талдычить одно и то же?!

— Лена, говори тише, мы не одни, тут кругом другие пассажиры! У каждого своя головная боль, так ты им еще нашу личную жизнь сюда...

— Да начхать на пассажиров, мне не хватает твоего внимания, ну это же элементарно... еще больше раздражает твоя пассивность. Мы уже два года вместе, и уже шесть месяцев, как я к тебе переехала! Это серьезный шаг, между прочим... а что с твоей стороны? Что, что? Ну, скажи, что ты на меня уставился, как мышь из-под веника?!

— Лена, я же попросил, говори чуть тише, людям неинтересны наши проблемы, почему они должны...

— Это не «наши» проблемы, а «твои» проблемы! Со мной-то все в порядке. Кормишь меня обещаниями только... До сих пор в океанариум свой так и не сводил за два года отношений — анекдот!

— Лена, ты же знаешь, какой у меня график. Я возвращаюсь домой очень уставшим...

Сизиф тяжело вздохнул и подпер рукой щеку. В прямоугольнике окна промелькнули Измайловский кремль, высоколобые гостиницы: «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма». Утро чуть прояснилось, небо стало прозрачнее. Высотки гостиниц напомнили почему-то Сизифу надгробные плиты.

На остановке вошла невинная девочка лет тринадцати с большими белыми бантиками в симметричных косичках, в розовой курточке и лакированных башмачках. Сиреневый рюкзачок блестел за спиной, перед собой девочка держала, обхватив обеими ручками, маленький томик «Я приду плюнуть на ваши могилы» Бориса Виана. Из кармана цветастой курточки торчала деревянная рукоять ножа. Школьница загадочно улыбалась.

— Хватит мямлить! Ты все время мне про свою усталость говоришь, а я, по-твоему, не устаю? Мало того, что я зарабатываю больше тебя почти на палтос! Так еще вся бытовуха на мне!

— Баааа! Так вот мы как заговорили?! На палтос, значит? Мы три месяца жили на одну мою зарплату, пока ты в своих бизнес-проектах пыталась разродиться — я смотрю, ты быстро этот период забыла? И что, в конечном счете, много детской одежды наторговала, расскажи, давай, не стесняйся, ну?! Коуч-тренинги с неудачниками и резиновые члены для амбициозных телочек — твой профессиональный потолок... *и что самое смешное: последние несколько месяцев ты из-за своих комплексов не отлипаешь от зеркала, боишься на улицу выйти... палтос она тут вспомнила — пару месяцев больше меня получала, а разговоров об этом... каждый раз вспоминаешь... вот не надо, вот не надо, ты вообще уже года два клялся, что уйдешь из своего call-центра, а все там торчишь... А мне что, мозги людям пудрить, как и ты, прикрываясь эриксоновским университетом или членов резиновых понакупать? Давай называть вещи своими именами, вся эта твоя коуч-*

активность от банального недотраха... ха, как остроумно, мужчина, а вам не кажется, что вы свой собственный сук пилите, ха! еще бы недотрах, у тебя же график-пятидневка, ты вечно уставший... ты вообще помнишь, когда я в последний раз кончала? твоя бы воля, мы бы одними минетами ограничивались — тебе больше ничего и не надо, сразу ложишься и на бочок... но я действительно очень люблю, когда ты мне это делаешь — у тебя это совершенно особенно выходит... вот-вот, о том и речь, я, по-моему, тебе только для этого нужна, ты не уважаешь мою личность... это я-то не уважаю твою личность? я очень уважаю твою личность, которая умеет делать шикарный минет — просто я не понимаю, почему одно должно исключать другое?... а о моем удовлетворении ты подумал?... слушай, ты сама говорила, что я тебя удовлетворяю... так это когда было? год назад, ты тогда старался, человеком был нормальным, а сейчас что? что сейчас? да ты только посмотри, на кого ты похож! почему ты мантию не носишь, которую я тебе подарила?... я ее берегу, она очень стильная, да и на улице на меня все пялятся в этой мантии, я себя неловко чувствую... ну вот так тебе и делай подарки после этого... а между прочим, ты вот когда мне хоть что-нибудь дарил в последний раз? про ресторан вообще молчу... да у меня времени не было, сама же знаешь, какой график дебильный... не беси меня! не хочу больше про твой график ничего слушать! у тебя не график, у тебя член не стоит просто... Слушай, это уже переходит всякие рамки... и перестает быть смешным, реально... Смешным-смешным, именно, что смешным: я тоже его нахожу очень маленьким и смешным... Замолкни! Я щас на станции следующей выйду, и ты меня больше не увидишь... Я те клянусь, щас выйду на Владыкино и покончим... Ба, напугал! На Владыкино он выйдет, да скатертью дорога!

— Я все сказал, щас на следующей выхожу...

— Маленький, маленький член!

— Просто у тебя лошадиное влагалище. Это все твои резиновые курсы!

— Просто мне так надоело все это, божечки! Как же я устала!

— Как же я устал... Просто ты истеричка.

— Просто ты пассивный.

— Алитрохан Андроникович, я вас очень люблю. Больше жизни. Вы соскучились?

— Ладно, прости, с членом я переборщила... на эмоциях лягнула...

— Я про влагалище лошадиное тоже ни к чему сказал... не обижайся, нормально у тебя там все... Слушай, Лена, я те клянусь: завтра же беру неоплачиваемый отпуск, и мы пойдем в океанариум, в ресторан, вообще весь свой день посвящу только тебе!

— Ага, вот так значит, неоплачиваемый? То есть у тебя денег куры не клюют, я так понимаю? Тебе их деть некуда? Дак ты поделись со мной, я оценю порыв.

— Блин, Лена, не выноси мозг, ты чего от меня хочешь тогда вообще?! И не надо мне потом говорить, что я пассивный... я только что предложил, а ты...

— Да не надо мне одолжение делать, понятно? Не надо вот! Не надо!

— ...Мир — это все, что случается. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. Мир определен фактами. Факты в логическом пространстве суть мир. Никакой крик мучения не может быть значительнее крика одного человека.

— Лена, ты с ума меня сведешь! Может быть, хватит уже? У меня уже нервные судороги скоро от твоих упреков бесконечных будут.

— Мама, я какать хочу!

— Я хочу в Большой театр.

— ...

— Мне нужно сделать ресницы.

— ...

— Я хочу в океанариум.

— ...

— Я хочу в ресторан.

— ...

— Я хочу в кино.

- ...
- Я хочу в ночной клуб.
- ...
- Я хочу записаться к массажисту.
- ...
- Я хочу ходить на йогу.
- ...
- Я хочу заниматься лошадиным спортом.
- **КОННЫМ!**
- Ну да, а я как сказала?
- !!!
- Мне кажется, ты мне изменяешь...
- !
- Мне не хватает страсти! Раньше в постели ты был совсем другой... это либо измены, либо ты пресытился моим телом...
- Может, ты не будешь орать на весь вагон о нашей личной жизни?
- Я не ору.
- Орешь.
- Нет.
- Как недорезанная...
- Да никто ничего не слышал, я уверена. Дался ты кому.
- У нас месяц назад был прекрасный секс... ты просто не можешь мне простить того, что я вчера уснул, хотя ты настаивала... ты все-таки очень мелочная и злопамятная. Я всегда это в тебе замечал.
- Ой, вот не надо, не надо, не надо. Ты мне сам прожужжал все уши о том, что я совершенство.
- Дак это когда было? Ты тогда была совсем другим человеком, старалась... вот я и говорил, что говорил... Я тебя сегодня так отмакароню, ты у меня по стеночке ходить будешь.
- Ой ты батюшки, какая это сейчас была вяленькая и неубедительная угрозка...
- Да потому что ты вечно шипишь, как недотраханная... тебя сколько не жаришь, все мало!
- Ты же после каждого секса давление измеряешь, как дряхлый пенс... Нормальные мужики курят после этого, а ты лезешь в шкафчик за своими проводами...
- Потому что у меня гипертония и мне нужно следить за собой во время нагрузок, поэтому тонометр всегда под рукой...
- Божечки ты мой, секс — это не нагрузка — это удовольствие... я же говорю, что из тебя песок давно сыплется... максимум на полшишечки можешь, а потом сразу в храп вырубается... Знаешь, Сизиф, мне кажется, нам надо расстаться...
- Господи Иисусе, я сойду с ума... Не носи чепухи, Лена. Я не хочу слушать этот бред... Все, я закрыл уши, видишь? Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Я тебя не слышу, я тебя не слышу...
- Сизиф, да ты же неадекватный. Ты бы видел сейчас себя в зеркало. Взрослый мужик, под сорокет уже, а заткнул уши и кривляешься, как школьник.
- Ла-ла-ла. Ла-ла-ла...
- Не будь идиотом, на тебя уже люди оглядываются. Мы вообще-то в общественном транспорте, если ты забыл! Ты всегда был невоспитанным. Ну что за плебейство?!
- Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
- Послушай, придурок, сегодня надо купить индейки или говядины, спагетти тоже закончились. И порошок стиральный. Кефир однопроцентный. Майонез. Картошки, по-моему, тоже мало осталось.

— Напиши весь список, я зайду после работы. Подумай хорошо, Лен, чтобы не забыть ничего...

— Хорошо, сейчас...

— Знаешь, что я думаю, Лен?

— Не знаю, ничего не хочу слышать. Нам надо расстаться... Кстати, и капли в глаза купи, не забудь — у меня аллергия началась опять.

— Мне кажется, все наши проблемы из-за того, что у нас нет детей... и я тут подумал... пожалуй, что я готов...

— Ты серьезно, Сизя?! Да ты мой славный, ты щас серьезно, прям на сам-деле?

— Да, конечно, уже давно об этом думаю... думаю, что пришло время. Да и расписаться было бы не лишне... отсюда ведь и все наши ссоры — ты чисто по-женски уязвлена, что наши отношения лишены основы... и все это, как времянка какая-то наспех выглядит. Но это не так. Я люблю тебя, и... мне хочется, чтобы наши отношения были скреплены чем-то большим, чем просто фактом совместного проживания... мне кажется, я готов... да, я вижу нас в браке. И что самое главное, я совершенно искренне хочу от тебя ребенка.

— Божечки, Сизя, я так счастлива, что ты это все наконец-то сказал... Я так долго этого всего ждала, ты не представляешь даже... Все подруги давно замужем, а я как сука ущербная.

— Да, я все это замечал... Ты давно намекаешь об этом, думаешь, я не видел? Нет, я не слепой же... просто меня пугало все это... своей стремительностью, не знаю, как сказать. Я боялся определенности... еще меня смущали наши частые скандалы, но сейчас я понял, стоит тебе стать матерью, все наши склоки прекратятся. У Крылова басня есть о том, что пустая бочка гремит, а полная — нет, так вот мы пустая бочка, это же очевидно... Давай уже просто радоваться жизни, просто наслаждаться друг другом... зачем эти постоянные разборки? Бесконечная агрессия, напряжение... мы уже так измочалили друг друга в этом смысле... превращаем отношения в какую-то пытку, вместо того чтобы просто парить над землей, улыбаться, давать, создавать что-то, я не знаю...

— Да, Сизенька, ты совершенно прав! О, Сизиф, я так тебя люблю. Ты даже не представляешь... Давай начнем новую жизнь — пусть каждая минута нашей близости будет наполнена запахом цветов, солнцем и нежностью... давай вместе читать книги, танцевать, слушать музыку, открывать новые миры!

— Да, да, именно так, Ленчик! Пусть каждый день нашей жизни начнет источать божественный нектар великих чувств!!! Ну наконец-то мы поняли, что нужно нам обоим, нащупали этот счастливый млечный путь! Я так тебя люблю, дорогая. Ты моя Беатриче, ты моя Изольда, вперед к звездам, на самую вершину неба... Где будем только ты и я... Бог ты мой, ты так прекрасна, как закат над Пиренейским полуостровом... глазам не могу поверить...

— Ты был на Пиренейском полуострове?

— Никогда в жизни.

— О, Сизифушка... я так сильно тебя люблю! Просто пипец. У меня даже сердце ебашит в груди, слышишь, как громко колошматит?.. Да нет, это селезенка... Чуть выше, за сосочком. Вот здесь, ага.

— Сосочек-пососочек. Ты когда-нибудь сосала член на МЦК, кстати?

*Окончание в следующем номере*